

**ЕВМАТИЙ МАКРЕМВОЛИТ****"ПОВЕСТЬ ОБ ИСМИНИИ И ИСМИНЕ"****КНИГА ПЕРВАЯ**

Город Еврикомид [1] и тем хорош, что морем увенчивается и реками омывается, и лугами богат, и всевозможной роскошью изобилует, но и в благочестии ревностен, и еще более, чем золотые Афины, он весь — алтарь, весь — жертвенный дар, богам приношение. Он соблюдает праздники, справляет торжества, приносит жертвы и Зевсу и прочим богам.

В этом Еврикомиде наступает пора Диасий,[2] и по жребию назначают вестников. Ведь обычай и неписанный закон города таков: в дни священных торжеств мечут жребий о знатных еще неженатых юношах, и тот, на кого он падет, увенчанный лавром, отправляется вестником в город, определенный жребием.[3] Жребий, милый мой Харидук, выпал мне; и вот я в венке, и священный вестник в Авликомид.[4]

Я выхожу из храма с головой, увитой лавром, в хитоне священнослужителя, в великолепной обуви. Народ встречает меня со всяческим почетом: светочи, кимвалы, факелы, напутственные песнопения, все, что приличествует этому священному дню. Весь город поднялся, и каждый спешит ко мне: иной меня целует, иной заключает в объятия, иной пляшет передо мною, все стараются почтить на свой лад. Глядя на это, ты сказал бы, что поток, неистовый и многоводный, волнами заливает меня, вестника. У всего города на устах одно: «Исминий вестник, вестник не куда-нибудь, а в Авликомид».

И вот я прибыл туда; к чему рассказывать обо всем, что было в пути? Прихожу я, друг мой, вестником, а принимают меня в Авликомиде, словно я не вестник, а бог. Сбегается народ, украшают улицы, миртовыми ветвями устилают мне путь, благовониями напитывают воздух, окропляют всех розовой водой. Меня же толпа обступает и, словно блистательный хоровод, охватывает кольцом, подобно тому, как Сократа [5] некогда окружали его последователи. Всякий увлекает меня к себе, почитая за счастье, если у него остановлюсь я, в честь великого торжества великим городом посланный вестник.

Берет верх Сосфен: колесницу для меня подводит, к дому своему приводит, принимает с великим гостеприимством и в сад вводит. Сад этот преисполнен был прелестей и услады, зеленью изобилует, весь в цветах: ряды кипарисов, кровли из тенистых миртов, виноград в курчавых локонах лоз, фиалки глядят из листьев и, кроме благоухания, услаждают взор; иные розы возникают из чашечки, иные лишь бременеют цветком, иные уже распустились, есть и такие, что, расцветши, успели осыпаться. Лилии украшают сад, радуют обоняние, манят взоры, с розами соперничают. Если б тебя поставили им судьей, не знаю, кому присудил бы ты победу. При виде всего этого мне представилось, что я попал в сад Алкиноя,[6] и я перестал считать вымыслом прославляемые поэтами Елисейские поля.[7] Ведь лавры, мирты, кипарисы, виноградные лозы и другие растения, которые украшали или, вернее, составляли сад Сосфена, протягивают, словно руки, свои ветви, как бы в хороводе, осеняют сад и лишь тогда дают лу-

чам солнца коснуться земли, когда веяние легкого ветра колеблет листву. Глядя вокруг, я воскликнул: «Ты залучил меня в золотую клетку, Сосфен!». Водоем вырыт глубиной около четырех локтей; на пращу похож водоем. Полая колонна в середине соответствует центру образуемого водоемом круга. Колонна каменная, камень многоцветный. Фессалийского камня чаша на верхушке колонны, над ней позлащенный орел, извергающий воду из клюва. Чаша принимала воду. Орел распластал крылья, словно желая омыться. Козочка, согнув передние ноги, пьет воду; пастух, сидя подле, тянет ее сосцы. Она пьет воду, он же цедит белое молоко. И пока козочка утоляет жажду, пастух не прекращает своего дела, а молоко льется сквозь дырявое дно стоящего под выменем подойника. Сидит здесь и заяц: правой передней лапой он роет землю, находит источник и окунает мордочку в воду. По краям водоема сидят ласточка, павлин, голубь и петух — всех их Гефест [8] сковал и сделал искусный Дедал.[9] Вода каплет из их клювов и, мелодически струясь, наделяет птиц голосом. Шелестит и листва деревьев, колеблемая ветром. Внимая этому, ты бы подумал, что сладко поют птицы. А вода, совсем прозрачная, меняла свои оттенки в зависимости от цвета камня. Дно водоема было устлано островным камнем; белый, он местами был покрыт черными прожилками; чернота эта спорила с искусством живописца: из-за нее казалось, что вода непрерывно движется, волнами вздымается и выгибается. Края водоема украшал хиосский, лаконский и фессалийский камень, а середину — многоцветный, состоявший словно из сотни оттенков, чередой сменявших друг друга. Зрелище было необычайно и исполнено прелести: разноцветный камень водоема, птицы, извергающие воду, фессалийская чаша, позлащенный орел с водяной струей в клюве.

Вокруг — ложа, не деревянные и не слоновой кости, но благородного камня. Основания их из фессалийского камня, бока украшены халкидским. Подле лож поставлены полушария: мастер вытесал их из пентельского камня [10] для отдохновения ног. Миртовые деревья со всех сторон осеняли ложа; деревья буйно ввысь устремлены, сплетены друг с другом, как бы стремясь создать кровлю. Все это, Зевсом клянусь, видя, я всецело был поглощен зрелищем и едва не онемел.

Сосфен говорит мне: «Сними знаки посланничества, сними венок вестника, возляг с нами».

И вот, сняв венок, вестнический хитон [11] и священные сандалии, я опускаюсь на ложе. Рядом со мной ложится Кратисфен, мой родственник, мое второе «я» (ведь так я определяю друга), сопровождавший меня в Авликомид. Итак возлежим я, Кратисфен, Сосфен и Панфия, его супруга. Зачем подробно перечислять все угощения и наслаждения? Деве Исмине, своей дочери, Сосфен велит разливать вино. Поясом девушка подобрала хитон, до локтей обнажила руки, а ниспадавшие на них складки тонким шнурком подняла к шее. Сев возле голубя, она омыла руки: клюв птицы был помощником в этом ее труде. Затем она подносит серебряный сосуд к клюву орла и сразу наполняет до самых краев — с такой силой била струя. Рядом с сосудом девушка ставит кубки, заботливо и тщательно их ополаскивает. Теперь она готова служить гостям. Сосфен выпил вино (он не уговорил меня выпить первым), затем Панфия. Мой черед был третьим. Исмина подошла ко мне и, протягивая кубок, «Привет тебе», — прошептала. Я молчал, но с наслаждением выпил, ибо прекрасен был кубок, вино сладостно, прозрачно и свежа вода.[12] Ничто не может быть желаннее для человека, мучимого жаждой, разгоряченного, томимого зноем. Вслед за мною и Кратисфен пьет этот нектар[13] — только так я могу назвать авликомидское вино. Мы принялись за разнообразные и изысканные яства, а вскоре опять вернулись к вину. Девушка приблизилась ко мне и чуть

слышно: «От соименной,— говорит,— девы тебе кубок» и ногой касается моей ноги и нажимает на нее, пока я пью. Я покраснел, клянусь богами, и поднял бы ее на смех, если бы не думал, что это произошло случайно. Затем мы вновь ели и вновь пили. Девушка подошла, смешивая для меня вино; она протянула мне кубок, я тяну руку, чтобы взять и уже берусь за кубок, а она не отнимает своих рук. Ведь дева у меня и подавала кубок и держала его: вид делала, что подает, а на самом деле держала. Схватка рук; рука целомудренной девы побеждает руку целомудренного вестника. Смущенный поражением, я сказал деве языком вестника — свободно и целомудренно: «Ты не хочешь дать мне кубок? Чего же ты хочешь?». При этих словах она опустила кубок, задрожала с головы до ног, больше обычного залилась румянцем, опустила глаза и стояла, словно пораженная громом, и стыд был на лице у нее.

Панфия обращает глаза на дочь, глаза, полные гнева, полные негодования, налившиеся кровью. Она обводит взглядом ее голову, ее руки, ее ноги, ее шею — всю Исмину охватывает она глазами, на всю гневается, на всю негодует. Панфия краснеет (удивительная, мне кажется, вещь румянец, порождаемый гневом), потом снова бледнеет, точно вся ее кровь отлила к щекам Исмины.

А Сосфен, пристально взглянув на дочь, качает головой, тотчас отводит глаза и говорит: «Время Диасий! Почтим пиром Диасии! Безраздельно предадимся ликованию, безраздельно предадимся торжеству! Зевс присутствует на нашем пиру, и пир этот — Зевсов, ибо вот этот (Сосфен указал рукой на меня) — вестник Зевса».

Кратисфен, который возлежал со мною рядом, безмолвно ударяет меня рукой, ногой наступает мне на ногу и шепчет «Молчи». Я не понимал, что со мной происходит: краснел, бледнел, не мог сказать слова, страшился, дрожал, стыдился самого себя, Сосфена, Панфии, Исмины, всех присутствующих и даже моего Кратисфена. Глаза я вперил в стол, чтобы избежать взглядов Исмины.

Снова девушка, повинуясь приказу, смешивает вино и после Сосфена, своего отца, и после Панфии, своей матери, подходит ко мне, вестнику. Сосфен говорит: «О, вестник Исминии, вот праздничный кубок, выпей его в честь Зевса, и да будет тебе благо; благо за пиром, благо за вином, благо в вестническом труде твоём». Я же: «Благо и тебе, Сосфен,— ответил,— оказавшему нам столь богатый и столь пышный прием!». А девушка, стоя со мной рядом, рукою мне в руки подает кубок, свои взоры с моими сплетает. Я протягиваю руку взять кубок, а она сжимает мне палец и, сжимая, вздыхает, и легкий вздох ее поднимается словно из самого сердца. Послушавшись Кратисфена, я молчал. Так закончился пир.

В отведенный нам покой нас провожали Сосфен, Панфия, дева Исмина и три рабыни. Одна несла чистую воду, другая держала на плече серебряный чан, у третьей в руках была белоснежная пелена. Мы входим в наш покой. Сказав мне «Прощай», Сосфен вместе с Панфией уходит. Мы же с Кратисфеном легли на ложа, богато постланные и таровато. Рабыня, которая несла чан, поставила его на пол у моего ложа, другая налила воду, а дева Исмина опустилась на колени и стала омыwać мне ноги: ведь и это тоже было священной обязанностью по отношению к вестникам. Она касается моих ног, крепко их держит, обнимает, стискивает, украдкой целует и поцелуи скрывает, а под конец щекочет ногтями. Я, до тех пор сносивший все молча, невольно рассмеялся. Исмина подняла голову и, пристально взглянув на меня, едва приметно улыбнулась и снова опустила глаза, хотя я не обращал внимания на знаки ее любви. Она вытирает мне ноги,

взяв из рук служанки пелену, и со словами «Прощай, вестник!» уходит. Я тотчас же погрузился в сон, утомленный яствами, вином и своими вестническими обязанностями. Около третьей стражи ночи [14] прекрасный Кратисфен будит меня словами: «Не подобает всю ночь так покоиться вестнику». [15] Я старался, движимый стыдом и дружбой, расстаться со сном, но он не расставался с моими глазами: ведь обильные яства, вино и усталость — источник сна. «Что тебе не спится, Кратисфен,— спросил я,— зачем от моих ресниц гонишь сладкую дрему?». Он же стал расспрашивать о том, что было за пиром и почему я рассмеялся, и принялся бранить мой язык, говоря:

Немногословный язык, конечно, сокровище в людях,  
Но приятней всего и здесь соблюдение меры.[16]

Я ему в ответ: «Что было за трапезой, Кратисфен, ты сам знаешь, ибо возлежал рядом со мной и тоже пил нектар, а с Исминой было у меня вот что: в первый раз, подавая мне вино, она „Привет тебе“,— прошептала, во второй — „Из рук соименной девы прими кубок“ чуть слышно, таясь от чужих ушей, говорит, и, пока я пил, она ногой нажимала на мою ногу. В третий раз девушка подносит мне кубок и, подавая, снова удерживает. Что я на это сказал, ты слышал, видел и все, что было потом: негодование Панфии, гнев отца, как он покачал головой, заметил и замешательство девы, и ее молчание, и испуг, и как она залилась краской, заметил и все остальное, что Исмина, словно громом пораженная, претерпела. Мало того, клянусь моим священным жезлом, я сам испытывал стыд и преимущественно из-за твоего наставления молчать. В четвертый раз мы пили вино в честь Зевса-Спасителя,[17] и опять Исмина сжимала мне палец. Вот что было за пиром. А что было здесь в нашем покое? Она оmyвает мне ноги, приникает к ним, стискивает пальцы, целует и, целуя, поцелуи скрывает, а под конец щекочет мне подошвы. Тогда, как ты слышал, я рассмеялся».

Кратисфен воскликнул: «Счастливец! Тебя любит дева, и дева столь прекрасная! Что же ты не разделяешь ее любви?».

«А что такое любовь?» — спросил я.

Кратисфен во второй раз громко воскликнул: «О Геракл! Какая нелепость! Какая простота! Да будут к тебе благосклонны Эрот, владычица Афродита и все любовные привороты!».

Я спрашиваю Кратисфена: «Что это такое? Кто наставит меня в этом?»

А он в ответ: «Природа живых существ не нуждается в наставничестве».[18]

И вот мы снова предались сну.

## КНИГА ВТОРАЯ

На следующий день мы опять в саду, насыщаем взоры его прелестями, вбираем усладу в наши души. Ведь сад этот — блаженное место, край богов, весь он прелесть и услада, отрада для глаз, для сердца — утешение, успокоение для души, стопам отдохновение, покой всему телу. Таков сад.

А его ограда — она-то какова! — тоже чудо — вся расписанная умелой рукой живописца, ровно настолько она поднималась ввысь, чтобы охранять сад от взоров и вторжений. Четыре девы изображены на ограде. Голова первой блистательно венцом украшена. Камни на венце сверкают,

пламенем искрятся, сияние источают, влаги полны. Взглянув, ты ска- зал бы, что камень соединил в себе несоединимое — воду и пламя; то и другое сладостно, то и другое прекрасно. Пламя полыхает багрянцем, вода сверкает молниями — столь правдиво передал мастер природу драгоценных камней. Жемчужины их окружают; они белы, как снег, совершенно круг- лые, необычайной величины.

Пораженный, не спуская с них глаз, я в восхищении воскликнул: «Град и угли огненные».[1] А Кратисфен (ведь и он стоял со мной рядом) засмеялся в ответ на мое неудачное сравнение. Волосы волной рассыпаются по плечам девы, как подобает, вьются локонами, и золотом отливают локоны. Ожерелье вокруг шеи серебряное с золотыми точками. Сапфир — застежка ожерелья. Руки у девы белые и поистине девические. Правая, приподнятая и слегка изогнутая, касается головы и сверкающего на лбу карбункула, левая держит чудной красоты шар. Правая нога у девы без сандалия, левая скрыта хитоном. Хитон совсем простой, скорее деревен- ский: все украшения мастер расточил на голову девы, остальное же нари- совал, как пришлось.

Следующая за нею дева, вторая по порядку, — воительница; лишь лицо у нее не воительницы, разве только глаза суровее, чем бывают у дев. Шлем осеняет светом и украшает ее голову, щит — грудь, панцирь — спину, шерстяной пояс — бедра; ноги, руки и все тело защищены, как у воина. Рука мощная, как ствол дуба, пальцы же нарисованы девические; всюду, где она не была прикрыта доспехом, воительница выглядела девой, всюду, где была защищена, дева представала воительницей. Щит в левой руке у девы, если хочешь, назови ее воительницей, в другой — длинное копье, оружие Арея.[2]

Следующая за ней — истинная дева: скромна всем обликом — лицом, одеждой, обувью. Не цветными камнями, как у первой девы, не жемчу- жинами, как у той, что нарисована прежде всех, а листьями и цветами увенчана ее голова. Только розы не доставало в венке, потому ли, что живописец о ней забыл, потому ли, что не пожелал нарисовать, потому ли, что краски не способны передать цвет розовых лепестков. Волосы девы лишь немного ниспадали вниз: их сдерживал венок. Белая накидка покры- вала голову и лоб. Тонок, как паутина, хитон девы, бел цветом, пят до- стает, просторен. Правая рука так покоится на ее теле, что скрывает пра- вую грудь; пальцы лежат на левой, целиком ее прикрывают, охраняя. Безгрудой, ты сказал бы, взглянув, она изображена. Вторая рука при- держивает хитон у бедер: в лицо девы, видно, дует порывистый ветер и развеивает складки хитона. Столь скромна дева, дерзок ветер, легок хитон; но нежнокожей девы не касается проясняющий небо борея.[3] Правую ногу дева обвивает вокруг левой, прижимает к ней, сплетает с нею, бедро при- ближает к бедру, голень к голени, чтобы сквозь тонкий хитон не просвечи- вало тело. Черные сандалии на ногах, сандалии сделаны прочно, точно не для девичьей ноги.

Четвертая и последняя дева, кажется, появилась из внезапно рас- сеявшегося облака и словно глядит с небес. Вся она соткана из воздуха, строга на вид, но прекрасна лицом. Красен ее хитон, но есть в нем и бе- лизна. Белизна ли это тела, проступающая сквозь хитон, живописец не позволяет решить. Волосы девы прекрасно собраны на затылке, глаза обращены к небу, весы и факел в руках; весы — в правой, факел — в ле- вой. Ноги до колен сковывает хитона плен.[4]

Так выглядели девы; а чем они знамениты и кто такие, нам страстно хотелось узнать. Мы замечаем надпись над головами дев — ямбический

стих, разделенный так, что каждая дева получала свое имя. Стих таков:

Разумность, Доблесть, Скромность с Справедливостью.[5]

Тут мы начали рассуждать об облике этих дев, говоря теперь о том, чего прежде не затронули, о блистательном венце первой девы, драгоценных камнях этого венца, жемчужинах, золоте, обвивающем шею, серебре, сапфире, обо всем облике девы, о деснице, словно говорящей «здесь, в голове — мое богатство», о шаре в левой руке, знаке власти над всем, о простоте хитона, знаке того, что Разумности, разве что в уборе головы, чужды украшения; о воинственном облике следующей за ней девы, в воительницах деве и, наоборот, в девах воительнице; ведь и Доблесть по природе воительница, а по имени — дева,[6] поэтому там, где она не одета доспехом, дева она и именем, и видом, а там, где дает заметить свою силу, воительницей выглядит дева. Подобно тому как живописец сохранил имя в природе воительницы, так и природу воительницы отобразил в имени девы.

Мы говорили о сплетенном из цветов, свитом из вечнозеленых растений венке следующей, третьей девы, о ее гладких волосах, о покрывале на ее голове, о том, как она спереди хитон держала, о том, как груди свои охраняла, о бедре, прижатом к бедру, о стыдливости ее даже перед ветром и обо всем остальном, что живописец так удачно усвоил любезной мне деве. Я беру твою руку, живописец, целую твою кисть, благодарю тебя сверх всего прочего за то, что в венок истинной девы ты не вплел розы.[7] Нет ведь ничего общего между целомудрием и цветком розы, нагло окрашенным, багряным от стыда.

Беседовали мы о лике четвертой девы, глядящем с небесных круч, сотканном из воздуха, чистом, сияющем, о весах справедливости и обо всем, чем живописец подобающе наделил богиню Фемиду.[8] Справедливость ведь смотрит с небес, взвешивает свои приговоры, устремляет взоры в горнюю высь и чужда человеческого.

Мы переводим глаза на картину, следующую за изображением дев, и замечаем колесницу, высокую, блистательную и воистину царскую. Это колесница Креза [9] или одного из владык златообильных Микен.[10] На ней восседал чудесный отрок, совершенно нагой. Глядя на это, я сам застыдился и вспомнил стих:

Не сознавать — беда, но не мучительно.[11]

Стрелы и факел в руках отрока, колчан за плечами и обоюдоострый меч, ноги у него не такие, как у людей, а крылатые; лицом же он так сладостен, превыше всякого отрока, превыше всякой девы, он — как кумир богов, образ Зевса, истинно приворотный пояс Афродиты, истинно луг Харит,[12] истинно услада. Если бы вновь была свадьба Фетиды, если б Гера явилась на праздник, и Афродита, и Афина, и этот вот отрок, если б Эрида смутила пиршество и задумала хитрость с яблоком, если б пожелала, чтобы красивейшая получила это яблоко, если бы Парис вновь был судьей, а яблоко наградой за красоту, тебе бы, отрок, оно досталось! [13]

Я сказал Кратисфену: «Что за удивительная вещь искусство живописца! Он — чудотворец более великий, чем природа, он в воображении творит свои замыслы и воображаемое претворяет в краски.

Если желаешь, давай рассуждать об этом отроке. Порок соседит с добродетелью и сплотился с нею. Для подтверждения и нарисован этот отрок: искусство живописца претворило вымысел в подлинную жизнь. Разгадал

я твою загадку, мастер, постиг твой рассказ, окунулся в самые твои мысли; и если ты Сфинкс, Эдип [14]— я, если, словно с жертвенника и треножника Пифии,[15] ты вещаешь темные слова, я — твой прислужник и толкователь твоих загадок».

Что еще изображено? Настоящее воинство окружает отрока — города, пестрый сонм мужей, жен, старцев, старух, отроков, дев. Цари, тираны, владыки, повелители земли окружают его, подобно рабам, и не как царя, а как бога.

Две жены сплетаются друг с другом руками; ростом они выше смертных женщин, древнее времен Япета [16] годами. Необычны их лица, необычны морщины, необычен облик, необычен цвет кожи. Одна сверкает, как солнце, и вся источает свет: источают свет ее волосы, источают свет очи, источает свет хитон, лицо, руки, ноги — все источает свет. Другая вся черна — и волосы, и голова, и лицо, и руки, и ноги, и хитон. Ровесницы годами, они отличаются друг от друга цветом кожи, одинаково изборожденные морщинами, они разного племени: первая словно из Ахеи, где жены прекрасны,[17] вторая — из выжженной солнцем Эфиопии.

Окружает отрока и стая птиц; хотя крылья у них не связаны, они следуют за ним, как рабы; весь род потомков Амфитриты [18] в рабстве у отрока, и даже зверь, царящий над зверями, наравне с ними в его свите.

Я спрашиваю Кратисфена: «Почему же птицы не взмахнут свободно крыльями, но противу ожидания и вопреки природе рабски повинуются отроку? Почему лев, кровожадный зверь, царь зверей, перед которым трепещет зверь и весь покрытый доспехом воин, послушен отроку, хотя он и обнажен? Где его когти и грозный взгляд? Где косматая грива, где, наконец, его устрашающее и грозное рыканье? Отчего ни существа, покрытые панцирем (и они окружали колесницу), ни цари, ни владыки, ни тираны не в силах противостоять одному совершенно обнаженному отроку? Почему рыбы и морские твари трепещут перед ним? Из-за факела? Но ведь им подвластны все моря, все пучины, противоборствующие огню. Из-за стрел и крыльев? Но разве влажные глубины не сильнее?!

Что за жены, что за чудо, что за старость, что за морщины, что за облик, что за порабощение!

О, Зевс и все бессмертные, истинное чудо — эта картина, порождение мысли, создание искусной руки! Но взглянем, если угодно, и на надпись над головой отрока». Ямбы были такие:

Эрот сей отрок, с факелом и луком он,  
Крылатый, обнаженный, даже рыб разит.[19]

А Кратисфен говорит: «Теперь уже есть у тебя подтверждения моих слов. Ты спрашивал, каков Эрот; вот он у тебя перед глазами и да будет к тебе благосклонным!».

Я в ответ: «Рассуждай о смысле этой картины и истолкуй с ней в соответствии надпись».

На это Кратисфен: «Эрот наг, вооружен, с факелом и колчаном, крылат. Оружием опасен мужам одним, женам — факелом своим, стрелами — зверям злым, птицам лесным — крыльями, наготой — морским тварям и самому морю. День и ночь, как видишь, покорны Эроту; это ведь те жены, глядя на которых ты дивишься».

Я воскликнул: «Да не познать мне его!».[20]

Приходит Сосфен; мы опять возлежим за пиром. И вновь Исмина прислуживает, и вновь вперяет в меня взоры, и, ставши напротив и слегка склонив голову, украдкой меня приветствует и, приложив палец к губам велит молчать.

Я оборачиваюсь к Кратисфену: «Видишь? Что это значит?».  
А он мне: «Молчи», — говорит.

Девушка приблизилась и, смешивая вино «Приветствую тебя, соименный мне вестник!» — прошептала. Затем, смешивая вино для Кратисфена, говорит, если можно так назвать ее шепот: «Благодарю тебя».

Вновь на столе яства, но не простые плоды земли и не дары моря, какие вкушает житель полей или морского берега, но то, что создала рука и искусство поваров, необычайные, как земнородные рыбы и как морские павлины. Столь изысканно богато угощенье, столь блистательно, столь сладостно, что тешит и взор, и вкус. Мы опять взяли за кубки — ведь обильные кушанья соответственно требуют и питья — и опять девушка смешивает для меня вино, первой отпивает из чаши и, подавая ее, опять шепчет: «Как по воле судьбы имя, так по любви я разделяю с тобой этот напиток». Вдосталь насладившись и разнообразными яствами, и всевозможными приправами, и вином, и различным печеньем, мы заканчиваем пир.

Сосфен говорит: «Благо ночи покорствовать черной.[21] Воздадим ночи положенное».

И «Привет тебе!» — сказав мне, удаляется вместе с Панфией. А Исмина делает вид, что ушибла ногу, и немного отстает от отца своего Сосфена и матери Панфии, «Привет тебе» сказав и «Послушайся моего отца», удаляется и она.

Мы же с Кратисфеном улеглись, стали беседовать о пиршестве и об Исмине: как она кивает мне, скрывая кивок, как прикладывает палец к губам, велит молчать, как, протягивая мне кубок, «Приветствую тебя, соименный мне вестник! — прошептала, как, смешивая для меня вино, отпила первая, как при втором кубке снова сказала: — И напиток этот я по любви разделяю с тобой, как имя по воле судьбы!». Наконец, вспомнили хитрую уловку Исмины и «Послушайся моего отца».

Кратисфен сказал: «Эрот воспламенил к тебе деву, Эрот завладел ею безраздельно: все это говорит о душе, охваченной страстью, и о языке, пылающем от любви. До каких пор Эрот будет винить тебя за бегство из его стана? Куда ты скроешься от него? [22] На небеса? Но он крылат и достигнет тебя. Скинув хитон, в море? Он опередит тебя и тут. Может быть, на земле? Он поразит тебя стрелой. Ты видел Эрота? Видел факел, стрелы, наготу, крылья? Неужели ты один не подвластен любви? Единственный?».

А я ему в ответ: «Позволь мне, друг, оставаться целомудренным.

. . . ведь целомудренных [23]

Так любят боги, ненавидя всех дурных.

И, смолкнув, мы погрузились в сон.



Около полуночи мне пригрезился страшный сон: я вижу, как в покой входит неисчислимая толпа, вереница мужей, жен, отроков, дев, все со свечками в правой руке, левая у всех с рабской покорностью прижата к груди. А в середине на золотой колеснице отрок с ограды Сосфенова сада, изображенный на ней Эрот, владыка, во всех вселяющий страх. Как гром, обрушился на меня его голос: «Ведите сюда этого своевластного, не ведающего рабства, не трепещущего перед моими стрелами, не страшящегося моих крыльев, хулящего мой факел, стыдящегося моей обнаженности, презирающего мою юность, восхваляющего живописца за то, что он отверг розу, презревшего любезную мне Исмину, за целомудрие так любимого богами».[1] Жалко меня повлекли, с головы до пят дрожащего, совершенно потерявшего дар речи, совершенно обмершего, бессильно лежащего на земле.

«Смилуйся, владыка», — слышу я вдруг и, немного очнувшись и открыв глаза, вижу Исмину, увенчанную розами, с розой в правой руке.левой она обнимает колени Эрота. «Смилуйся, — говорит, — над Исминием, смилуйся, владыка, ради меня; я сделаю его твоим рабом».

Эрот отвечает деве: «Ради тебя я разгневался, ради тебя и смягчусь»-Тотчас Исмина берет меня за руку и поднимает, уговаривая воспрянуть духом, а владыка Эрот зовет, делая знак рукой, и венчает розами мою голову. Вся толпа при этом испускает ликующие клики, рукоплещет, пляшет, «Исминий» восклицая «дерзостный, непорочный, с лавровым венком в волосах,[2] отвергнувший прекрасную Исмину, — такой же раб, как мы!».

А владыка Эрот сказал прекрасной Исмине: «Вот твой возлюбленный» — и улетел прочь с моих глаз, тяжелым камнем упав мне на сердце. Вместе с ним тотчас же улетела и моя дрема, а я, потрясенный, сел на постели и не мог овладеть собой, непрерывно перебирая в памяти то, что пригрезилось мне во сне. Сердце у меня колотилось, дыхание перехватывало, и я стал звать Кратисфена: «Кратисфен, Кратисфен!». Он соскочил с постели, а я опять сказал: «Я погиб, Кратисфен».

Ступая босыми ногами, он подбежал ко мне и, ласково взяв меня за руку, «Что с тобой, прекрасный Исминий?» — говорит.

Я молчал. Он заплакал и снова говорит: «Что же с тобой, Исминий? Ты молчишь?».

Тогда я сказал: «Я погиб, Кратисфен. Исмина меня губит, Исмина и спасает: ведь, ополчившись на меня, Эрот опустошил весь свой колчан и зажег мое сердце. Если б это было возможно, ты увидел бы, как он, вооруженный, с колчаном и факелом, вторгся в мою душу. Не вестник Диасий я больше, не служитель Зевса, не девственник. Возгорелась война в моем сердце между Эротом и Зевсом. Зевс грозно гремит с небес и оглушает громами, а Эрот, двинув осадные машины, на земле сотрясает акрополь. Один мечет молнии из туч, другой на земле сжигает меня полными чашами огня. Я — твердыня, твердыня Зевса; Эрот же осаждает меня и завоевывает. Я — источник Зевса, исполненный девственных услад. Эрот же изливает меня в источник Афродиты. Вестником Диасий пришел я из Еврикомида, вестником Афродисий [3] пойду из Авликомида; лавром тогда, розами ныне венчаю я голову. Кто столь дерзок душой, стоек сердцем и крепок грудью, чтобы противоборствовать богам и противостоять их осаде и натиску?! Я бессилен, Кратисфен».[4]

Он: «Как же, — говорит, — Исминий, ты — девственник, вестник Зевса, непорочный юноша, а дышишь только Эротом, сам посвятив себя в его

мистерии и сам себя наставив?»).

Я в ответ: «Нет, сам Эрот — мой мистагог, сам Эрот изменяет мою природу, рука Эрота увенчала эту мою голову, сначала развенчав ее».[5] И я стал рассказывать Кратисфену о моем сновидении, о пестрой свите Эрота, о светильниках в руке каждого, о боге, сидящем на колеснице, о его гневе, о голосе, как гром с небес обрушившемся на меня, о том, как меня влекли, о моих страданиях, о появлении Исмины, о ее заступничестве, о милосердии Эрота и, наконец, о венке.

Он: «Ничего необычайного,— говорит,— с тобой не происходит. Ты влюблен, но влюблен не ты один: это удел многих смертных.[6] В любви ты счастлив — любимая твоя так хороша, всецело охвачена страстью, и сам Эрот тебе помощник. Прекрасно и то, что ты спал: ведь бессонные от страсти глаза выдают охваченную любовью душу; и, как несдержанный язык не в силах скрыть тайны, так не знавшие сна глаза выдают любовную страсть».

Кратисфен тотчас крепко заснул, моих же глаз сон бежал, и, клянусь богами, мне казалось, что весь я изранен и постель, Эрот тому свидетель, устлана терниями, и, словно невиданная жертва на огне, приносимая в честь Эрота, я беспрестанно ворочался. Я жаждал увидеть день, грезил пиршеством с Исминой, смешивающей вино. «Если она сожмет мне палец, — говорил я себе, — еще сильнее я сожму ей. Но вчера ведь она сжала мой! Пусть еще раз сожмет! Если она сожмет, я тоже сожму, если не сожмет, все равно я сожму. Если ногой наступит на мою ногу, другой ногой я коснусь ее ног, если "Привет тебе" скажет, "Стократ — привет тебе" услышит. Если тайно кивнет мне, я кивну открыто, если отопьет из моей чаши, я жадно выпью самое девушку. Если не будет отдавать чаши, вместе с чашей я притяну к себе руку Исмины. Если приникнет к моим стопам и, приникнув, стиснет их и, стиснув, поцелует и, целуя, будет скрывать поцелуй, я тоже приникну к ее стопам и стисну и, стискивая, поцелую, но таить поцелуя не стану. Если будет щекотать мне ногу, я сам стану щекотать ее и заставлю рассмеяться от наслаждения и любви. Если после пиршества почувствует боль в ноге и, отстав от отца и матери, останется одна, я коснусь ушибленной ноги, поцелую царапину, изучу, целебное снадобье разыщу, приложу его к больному месту, смягчу не хуже врача рубец, осмотрю его со знанием дела и залечу. Более я уже не навлеку на себя гнева Эрота, не услышу порицаний за то, что я девственник, не буду осмеян за целомудрие и не претерплю всего, что, Эротом клянусь, вынес! Если пожелает ночных радостей, я возлягу с девой и, выражаясь языком поэтов, возвещу сон безмятежный.[7] Вот он спускается на мои глаза, и я засыпаю».

Лишь только я заснул, Исмина вновь передо мной, и ночь предвосхищает день и пиршество, и все, что я желал увидеть, испытать и совершить, я, как в зеркале, увидел и испытал во сне. Ведь свершением наяву божеество меня не удостоило. Сновидение представляет мне все пиршество, и мне кажется, что я, как всегда, возлежу и вижу Исмину, смешивающую вино. Первыми ли, как всегда, выпили Сосфен и Панфия, клянусь Эротом моих сновидений, — точно не помню.

Девушка, смешивая вино, подошла ко мне, я всю ее пил глазами, всю ее впитывал, всю переливал в свою душу. Она: «Возьми,— говорит,— чашу»; я вновь неотрывно на нее гляжу, но протягиваю руку за чашей и сжимаю пальцы Исмины и ее ногу прижимаю своей ногой, «Привет тебе» прошептав девушке едва слышно, как она шептала мне прежде. Она молчала и не ответила на мое пожатие, но покрылась от смущения румян-

цем. На столе, как обычно, обильные яства; я во сне испытывал голод и во сне насыщался: пищей и питьем и для глаз, и для души моей была дева Исмина, на нее одну я неотступно глядел.

Девушка вновь подходит, протягивая мне чашу с вином; ведь пришло время пить. Я беру и, отпив немного, возвращаю Исмине почти полной, сказав: «Я разделяю с тобой это вино». Пир, который любовно уготовило ночью сновидение или, вернее, Эрот задал мне во сне, кончился. Мы у нашего покоя; Сосфен с Панфией, как всегда, удаляются, а мы с Кратисфеном ложимся. Около своей постели я вижу Исмину; отбросив стыдливость, я рукой притягиваю ее к себе и сажаю на постель. Эрот ведь — отец вольности. Она же, как полагается деве, стыдится и вначале делает вид, что противится, однако затем уступает, как всякая дева мужчине, так как еще до меня была покорена Эротом.

Исмина потупила глаза, мои же всецело пригвождены к ее лицу: оно исполнено света, исполнено прелести, исполнено услады. Брови черные, чернота непроглядная, изгиб их, как радуга или лунный серп; глаза тоже черные, оживленные, ясностью просветленные; постепенно они сужаются, так что подобны скорее овалу, чем кругу. Ресницы, окружающие веки, черным-черны, глаза девы — воистину отображение Эрота. Щеки белые, белизна полная там, где не краснеет румянец; середина щек алая. Румянец растекается, точно расплывается, постепенно сгущается, он не таков, как его создают рука и ухищрения искусства; его не стирает ночь и не смывает вода. Рот чуть приоткрыт, губы, не плотно сомкнутые, — розовы. Взглянув на них, ты сказал бы, что дева прижала к устам розовые лепестки. Ослепителен ряд зубов — зубы один в один и подходят к губам, словно девы, стерегут их. Лицо — совершенный круг, нос отмечает его середину, и, если б я не трепетал перед Эротом, особенно после того, что перенес, я бы рассказал и обо всем остальном, но умолкну, чтобы отрок вновь не обрушил на меня своих громов.

Я прикасаюсь к руке Исмины, она пытается отстранить руку и спрятать в складках хитона, но и тут я беру верх. Приближаю руку Исмины к губам, целую, кусаю. Она сопротивляется и вся сжимается. Я обнимаю ее шею, касаюсь своими губами ее губ, покрываю поцелуями, источаю любовь. Делая вид, что сжимает губы, Исмина любовно кусает мои, скрывая, что целует. Я поцеловал ее глаза и исполнил душу любовью, ведь глаз — источник любви.[8] Я касаюсь груди Исмины, она стойко противится, вся сжимается и всем телом отстает грудь, как город свой акрополь: и руками, и шеей, и подбородком, и чревом обороняет и защищает она свои груди; высоко поднимает колени и с акрополя головы льет слезы, точно говоря: «Если он любит, пусть его тронут эти слезы, а если не любит, пусть помедлит с войной». Раздосадованный поражением, я становлюсь решительнее, и, наконец, побеждаю, и, побеждая, терплю поражение, и всецело лишаюсь сил. Ведь едва рука моя коснулась груди Исмины, слабость охватила мое сердце. Я страдал, отчаивался, трепетал неизведанным до толе трепетом, взор мой помутился, дух был слаб, силы иссякали, тело стало вялым, дыхание прерывалось, сердце билось, какая-то услаждающая боль, словно щекоча, пробежала по членам, и всего меня охватила неслезанная любовь, неизъяснимая, невыразимая. Я чувствовал то, клянусь Эротом, чего не чувствовал никогда! Тут Исмина вырвалась из моих рук или, лучше сказать, руки мои бессильно и беспомощно опустились.

Отлетел от моих век и сон, и я страдал, клянусь Эротом, утратив столь пленительное видение и лишившись милой мне Исмины. Я желал опять заснуть и предаться любви, как предавался ей во сне. Но так как это мне

не позволяли ни Кратисфен, ни поздний час, я вновь иду в сад — он ведь начинался у самых дверей дома.

Я был всецело пленен Исминой, пленен и душой, и телом, и глазами, и весь неистовствовал от любви. Вот я подхожу к богу, что был в саду — к нарисованному живописцем Эроту; сначала с рабской покорностью склоняюсь перед ним, затем начинаю укорять живописца за то, что он не нарисовал в толпе рабов Исмины, девы столь прекрасной, столь юной, столь дышащей любовью, столь любящей Эрота и любимой им.

Я не отрываю взоров от картины и говорю Эроту: «Я покорен тебе, владыка! Я не вернусь более в Еврикомид, не буду более причислен к прислужникам Зевса; я — гражданин Авликомида и внесен в число его граждан по списку слугителей любви».

На это Кратисфен: «Разве ты не чтишь свой жезл? Разве не чтишь Диасий, вестником которых ты пришел в Авликомид? Разве не чтишь Фемистия, своего отца, и свидетельницу многих лет Диантию?[9] Не предавайся безрассудной страсти! Прекрасна Исмина, необыкновенно прекрасна, и справедливо было бы

Ради подобной жены бремя тягот нести многолетних.[10]

Но отец из-за тебя лишается надежды: ведь он считал тебя опорой старости, теплом в стужу, дуновением ветра в зной. Разве ты не жалеешь свою мать, которая на тебя не надышится, о тебе не наговорится, на тебя не нарадуется и из-за тебя забывает невзгоды старости! Заклинаю богами, Исминий, заклинаю Зевсом, чьим вестником ты ушел из Еврикомида, заклинаю Эротом, чьим рабом ты стал в Авликомиде! Подумай об отцовских сединах, подумай о материнских слезах, подумай о нашей родине, о сверстниках и друзьях, подумай о нашем славном фиасе,[11] подумай о блеске агоры,[12] подумай о песнопениях, которыми провожали тебя отец и отчизна. Подумай об отце — как он будет стенать, подумай о матери — как она будет биться, как будет плакать, воистину жалостно, воистину горестно, как горлица над гибнущими птенцами. Не нектар смешала для тебя Исмина, не авликомидское вино, а забытое зелье Елены.[13] Ты забыл отца, мать, отчизну, сверстников, товарищей, столь блистательную агору и главное священного Зевса-Филия! [14] О злодейки женщины! Воистину, по словам мудрого поэта,

Немощны для подвигов,  
Но строить козни — не найдешь искусней их.[15]

Даже Одиссей, который был не вестником, но рабом, чужеземцем, скитальцем, даже он дым отечества ценил дороже не только свободы, но и бессмертия.[16] А ты из-за любовного пламени сделался рабом и предаешь свой вестнический жезл».

Я остановил Кратисфена: «Вот идет Сосфен; молчи, не разглашай моей любви!».

Сосфен обращается к нам: «Все приготовлено для празднества. Настало время пира. Пойдем!».

Снова мы возлежим на привычных местах и снова пьем. Я умалчиваю о кушаньях не потому, что питье мне любезнее, но потому, что вино подносит дева, а дева — Исмина, слаще самого нектара. Снова она смешивает вино, и снова я влюблен, и снова разжигаю свою любовь. Как ветер раздувает в высевах и сене гаснущий огонь, так созерцание разжигает

любовь влюбленных. Снова Исмина сжигает мою душу, снова приковывает к себе мои глаза, снова я вижу Эрота, трепещу перед его стрелами, страшусь факела, содрогаюсь перед луком и радостно приемлю свое рабство. Стол изобилует яствами; руки мои тянутся к ним, глаза — к Исмине, помыслы — к любви: так члены моего тела разъединены и части разобщены. Изобилие стола влечет мои руки, питье — губы, глаза — прелесть девушки, а Эрот — помыслы или, вернее сказать, все влечет к себе дева: и руки, и губы, и глаза, и помыслы. Так я изъявляю Эроту рабскую покорность, невиданную дотоле, которую никто и никогда не изъявлял, покорность не только тела, но и души.[17]

#### КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Девушка, как обычно, смешивает вино, а я не как обычно пью и, хотя пью, не пью и, не дотрагиваясь до питья, пью любовь. Пьет Сосфен, а третьим — я, потому что до меня пьет Панфия, и в то время, как пью, прижимаю ногой ногу девушки. Язык ее безмолвствует, но она говорит всем своим обликом и, говоря, безмолвствует; Исмина кусает себе губу и прикидывается, что ей больно, — сдвигает брови, хмурит лицо и тихо стонет. А я страдаю душой от одного ее притворства и отодвигаю свою ногу от ноги девушки, а рукой передаю ей чашу. О яствах, которые стояли на столе, пусть рассказывает Кратисфен или кто-нибудь другой из сотрапезников — для меня и стол, и кушанья, и питье, и все, что там было, — дева Исмина, палец которой я стискиваю, когда она вновь подает вино. Она же «больно», — тихо шепчет. Шепот ее был исполнен прелести и источал любовь.

После третьей и четвертой чаши и после богатых яств пир окончился. Сосфен говорит: «Вестник Исминий, сегодня третий день, как ты пришел в наш город из Еврикомида; по нашему обычаю, эти дни посвящены прославлению и вестника, и доставленной им вести. Отдохни опять, как обычно, рядом с этим вот (он показал на Кратисфена) прекрасным юношей, а завтра мы отправимся в Еврикомид, чтобы принести жертву Зевсу-Спасителю.[1]

С этими словами Сосфен оставил нас, сказав обычное «Прощай», а мне показалось, клянусь богами, что он зовет меня в подземное царство и, по слову поэта, я уже чувствовал леденящий холод Аида [2] и спросил Кратисфена: «Что говорит мне Сосфен? Исмина здесь в Авликомиде, а я в Еврикомиде? Нет, клянусь богом, изображенным на ограде! С Исминой я умру, с Исминой буду жить».

Я увидел девушку в саду, всецело смятенную любовью. Тотчас обнял весь сад глазами, вернее все глаза устремив на сад, оглядывая весь его и заметив, что Исмина одна, я приблизился и, «Привет тебе» сказав, потянул за хитон. Она вначале молчала и старалась только отнять у меня хитон. Когда же дотронулся до ее руки, «Имей почтение,—говорит,— к своему вестническому жезлу», когда хотел поцеловать, «Разве не чтить лавровый венок? — сказала,— и священные сандалии?». Когда я не смутился, помышляя только о поцелуе, «Какой тебе прок, — сказала, — в поцелуе?». А я, исполненный наслаждения, девушке:

Сладкая прелесть сокрыта ведь даже в пустых поцелуях.[3]

Дева, слегка улыбаясь: «Вчера ты представлялся девственником, — сказала, — прикидывался целомудренным, а теперь говоришь о любви».

Я, ничего не ответив, целую ее руку и, целуя, вздыхаю и, вздыхая, плачу. Она говорит мне: «Почему ты плачешь?».

Я: «Потому что только языком вкушаю мед: ведь твой отец Сосфен увозит меня с собой в Еврикомид».

Она же: «Меня тоже»,— говорит. И, вырвав руку, убегает.

Я, словно у меня на ногах выросли крылья, очутился на ложе и притворился спящим: ведь нас потревожил шум чьих-то шагов. Приходит Кратисфен, покинув мирт, в тени которого он сидел, и, притронувшись к моей ноге, говорит: «Долго ли ты будешь так крепко спать? Исмина в саду, а ты лежишь». Говоря это, он рассмеялся.

Я сказал: «Что ты смеешься?».

Он в ответ: «Потому что шаги служанки лишили тебя руки желанной госпожи, а напрасный страх столь удачной охоты».

Я поцеловал Кратисфена, сказав: «Порадуйся со мной, Кратисфен, дева отправляется с нами в Еврикомид».

Вернувшись в сад, я старался вновь встретить Исмину. Так как девушки нигде не было (она ушла), я продолжал стоять, как в зеркале видя перед собой ее облик. Кратисфен же привлекает мои взгляды к находящимся в саду картинам, и за моим Эротом, сидящим на высоком троне, мы видим разноплеменную, разноязыкую, разноликую толпу людей, разных и по облику и по образу жизни.

Один — воин: воин платьем, воин статью, воин ростом. Весь, как подобает воину, он защищен броней — голова, руки, спина, лоб, грудь, бедра по самые ступни. Так живописец соткал из железа одеяние или, лучше сказать, передал железо красками и покрыл воина до самых ногтей. За спиной колчан и двуострый меч, в правой руке длинное копье, левая держит щит, ноги столь правдоподобно и искусно нарисованы, что, взглянув, ты бы сказал, будто воин движется.

Стоящий за ним с головы до пят одет по-деревенски и с головы до пят пастух. Голова не покрыта, волосы и борода в беспорядке, руки по локти обнажены. Хитон живописец нарисовал до колен, а ноги оставил голыми. Грудь у пастуха косматая, космато и тело, что не прикрыто хитоном, бедра широкие и по-мужски крепкие. У ног пастуха изображена коза, приносящая двойняшек. Великан-пастух помогает козе: первенца держит в руках, второго козленка принимает. И по-пастушьи наигрывая на свирели, он, кажется, славит ее роды и просит Пана,[4] чтобы его козы часто и счастливо ягнились.

Затем нарисован покрытый цветами луг; какой-то человек, точно пчела, приникает к цветам. Он похож не на садовника, а скорее на человека богатого, роскошного, с головы до пят изысканного, с головы до пят исполненного прелести. Прелесть его лица соперничает с красой луга. Волосы сбегают по плечам, они завиваются в красивые локоны. Голова увенчана цветами, и розы рассыпаны в кудрях. Хитон у него до пят, будто выткан из золота, будто расшит цветами и весь развевается на ветру. Руки полны роз и других растений, которые услаждают своим запахом. На ногах сандалии; даже ноги не оставлены без украшений: на сандалиях, как в зеркале, предстает луг. Так живописец, вплоть до ног и обуви, осыпал этого человека своими милостями.

Вблизи луга живописец изобразил зеленую равнину, а в середине ее мужа, одетого как поселянин, с головой, увенчанной не розами, не цве-

тами, а тонкой льняной материей, которую рука тклет и искусство создает: поселянин вооружен луком. Живописец не раскинул его волосы по плечам и позволил им закрыть всю шею. Хитон дал он ему совсем простой, как полагается поселянину, деревенский. Ноги оголил до колен; в руки вложил серп, своим видом и величиной превосходящий обычный. Нарисованный поселянин прилежно срезает траву: глаза его прикованы к траве, и весь он поглощен своей работой.

Землепашец в поле, изображенный за ним, согнувшись, зажал серп в правой руке, а левой собирает сжатые колосья — получает плоды своих усилий, пожинает награду за труды и семена, снимает урожай. На голове у него войлочная шляпа, как говорит Гесиод:[5] видно, он не может с не покрытой головой быть на солнцепеке. Хитон землепашец подтянул поясом до поясницы и все тело, кроме срама, обнажил.

Далее нарисован человек, который недавно вымылся. Он стоит у дверей бани, куском ткани прикрывая срам, остальное тело — голое. Оно мокрым-мокро - от пота. Глядя на него, ты бы сказал, что искупавшийся задыхается и совсем обессилел от жары: так искусно живописец сумел передать это красками. Правой рукой он держит конический кубок и, приблизив его к губам, втягивает в себя питье, левая придерживает ткань у пупка, чтобы она не соскользнула и не оставила его совершенно голым.

За этим вышедшим из бани, омывшимся и разгоряченным, нарисован человек в хитоне, поднятом до бедер, с голыми ногами, открывающий источник вина. Волосы у него красиво откинута на затылок. Левая рука уподоблена виноградной лозе, с пальцев, как с веток, свисают грозди: правая снимает виноград, бросая ягоды в рот, как в точило, где зубы, наподобие ног виноградарей, дают ягоды. Ведь изображенный на картине человек — это и виноградная лоза, и виноградарь, и точило, и источник вина.

Следующий за ним юноша только что украсился первым пухом, он не ходит с непокрытой головой: на голову и локоны накинута тонкая, как паутина, льняная ткань. Хитон на юноше белый: он находит на руки, закрывает их вплоть до самых пальцев. Стянутый у бедер, ниже он свисает свободно и словно полощется на ветру. До самых колен живописец обул юношу. Он несет клетки с воробьями, ветки приготавливает, козни против птиц сплетает, хлопчет изо всех сил. Целый луг ветками засаживает, выпускает воробьев, то и дело притягивая их к себе на тоненькой нитке. Их собратья не замечают хитрости, не знают о коварстве. Они видят чудесный луг, летающих на нитке воробьев и сладко чирикающих в клетках, летят к ним на луг и попадают в ловушку. А измысливший все это птицелов подбирает птиц, сворачивает им горло и смеется над их доверчивостью.

Затем живописец нарисовал волов, влекущих плуг, и пахаря в худых сапогах; всю его остальную одежду живописец тоже нарисовал худой, — худой, весь в дырах (и это было искусно передано красками) хитон, худая шапка из валяной шерсти. Лицо у пахаря черное, не как у эфиопа, а загорелое от солнца. Волос сзади почти не видно, ведь вся голова покрыта, борода длинная и густая. Правая рука лежит на плуге и придерживает лемех к земле, левая держит бич, эту кисть землепашцев, которая окунается в воловью кровь и покрывает узором землю.

За пахарем нарисован человек, похожий на него обликом, хитоном, обувью, убором на голове и остальной одеждой. Телом же он отличается от пахаря. Хотя лицо у него черное, но не такое, как у того, не так и бело. как у мужа, нарисованного в саду, а сколько чернее, чем у него, столько

белее, чем у пахаря. Волосы в беспорядке опускаются до плеч, борода не такая лохматая, как у пахаря, но приглаженная и точно стянутая. В левой руке корзина, другой рукой он берет оттуда семена и разбрасывает по земле. Живописец не дает заметить, затаились ли в бороздах птицы и не достается ли какое семечко им.

Вслед за ними нарисован юноша с сильным телом и дерзким взглядом, он целиком поглощен охотой и погоней, руки у него обагрены кровью, он, видно, скликает собак. Хотя кисть живописца и мастерство вообще искусны, тут они бессильны и не могут красками передать голос. Волосы юноша собрал и свел в пучок. Хитон отлично на нем сидит, будто пришит к телу. Живописец спустил его до колен юноши, все остальное, кончая пальцами, покрывает какой-то рваный пеплос,[6] подвязанный, точно плющом, веревкой. В левой руке заяц, потому что правой юноша ласкает своих собак: они вертятся у его ног и, видно, играют.

Наконец, живописец нарисовал полные огня котловины и пламя, пылающее до самого неба, так что не понять, изливается ли огонь с высоты на землю или с земли взлетает до небес. Какой-то дряхлый старик сидит у огня, весь в морщинах, весь белый, с седой головой и бородой, шкура одевает его с головы по самые бедра, все остальное тело обнажено — руки, ноги, большая часть живота. Он вытянул руки и точно ловит огонь, точно манит и притягивает к себе.

Такие изображения мы видим, дивимся необычности нарисованного, жаждем узнать, что они значат, особенно Кратисфен: меня ведь всецело поглотила страсть к Исмине. Все остальное и все улады сада были для меня уладами, пока я не узнал Исмину, вернее, пока не воспламенился любовью к ней. Поэтому я обвожу сад глазами, видя Исмину, словно в зеркале, а Кратисфен замечает над головами нарисованных мужей ямбический стих; он звучал так:

В мужах сих полностью ход времени ты зришь.[7]

Тут мы стали рассуждать об их облике.

Первый, воин, обозначает время, когда всякий воин выступает в поход, весь облекшись оружием.

За ним нарисованный пастух, ягнящаяся у его ног коза и словно поющая свирель показывают пору, когда пастух после зимы выгоняет стадо, а козы ягнятся, и звучит пастушья дудочка.

Луг, розами цветущий, цветами блистающий, и муж, стоящий по середине, убранный цветами, изображают пору весны.

Зеленая равнина и срезающий траву поселянин ясно представляют время, когда высоко поднявшаяся трава ждет покоса.

Стоящий среди колосьев и жнуший их серпом изображает тебе лето.

Омывшийся, голый, утоляющий жажду, разгоряченный говорит тебе о жаркой поре, когда восходит созвездие Пса и сжигает людей своим зноем.

Давящий и собирающий виноград показывает тебе пору, когда собирают и дают виноград.



Следующий за ним птицелов намекает тебе на время, когда птицы в страхе перед зимними холодами улетают в теплые края.

Видишь пахаря за плугом? Это время, которое некий мудрый поэт из-за захода Плеяд отвел для пахоты.[8]

Рассыпающий вслед за ним семена — это сеятель: он указывает на пору посева.

Видишь юношу в окружении собак, вон того, с зайцем, который ласкает свою свору? Он представляет тебе пору охоты. Ведь когда кладовые наполнены хлебом, вином и всем, что следует запастись впрок, а будущее обеспечено семенами для поля и огорода, время посвящается отдыху, охоте и травле.

Этот седой старец весь в морщинах, сидящий перед огнем очага,[9] говорит тебе о жестокой зимней стуже, но также и о зябкой старости. Ведь холод, не продувает он девушки с кожей нежной, но старца бежать заставляет.[10]

Так рассуждая о картине, мы возвращаемся домой — настало время сна. Кратисфен лег на свое ложе, а я остался в саду, стремясь увидеть Исмину, и не спускал глаз с ворот. Ведь раненный любовью ум сам в себе воссоздает любимый образ, привлекает взор к своему созданию и, кажется, видит воображаемое. Так пламя любви, попав в душу, меняет и переделывает самое природу.

Кратисфен, встав с ложа, увлек меня в дом, сказав:

Ночь уже на дворе — хорошо вам ей покориться.[11]

А я ему: «Теперь мы поглядели на все изображения, прочитали надписи и отнесли каждую, куда следует; к лету, зиме, весне,— всем временам года отведена своя пора. Эрот же на картине не нарисован, и она не соединяет его с каким-нибудь временем, потому, конечно, что он подходит ко всякому».

А Кратисфен: «Я могу придаться к твоим словам, и у меня есть довод сильнее твоих — вот перед нами картина, и живописец безупречен. Лету, зиме, весне определена своя пора, как следует из картины и как говоришь ты, но не Эроту. Раз он перепрыгивает мету — это насилие, раз он путем насилия нередко подчиняет нас, это — исключение, а не правило: ведь кисть живописца — копьё Гермеса — она заострена тем, что изображает».

Я отвечаю ему: «Но копьё притупится от красок, в которые погружается. Ведь Эрот на картине изображен царем, и весь род людской с рабской покорностью окружает его; те же, кому художник усвоил ту или иную пору года, тоже люди, а раз весь род человеческий служит Эроту, как же его часть может избежать общего удела? Если всякий отрезок и промежуток времени состоит, словно из вещества, из дня и ночи, а они, согласно картине и твоим поучениям, сами у него в рабстве, ясно, что все, порождаемое из них, через них и в них, не только не избежит рабства, но против воли будет поработано».

С этими словами я поцеловал Кратисфена, прибавив: «Я победил тебя, Кратисфен!». А он в ответ: «Пусть будет так, ты победил, но пойдём домой».

Возвратившись к себе, мы легли. Какой-то шум в саду заставил меня подняться. Я вижу у водоема Исмину, подлетел к ней, вспомнил о ногах

Эрота, которые в отличие от людских крылаты, и превознес живописца, нарисовавшего картину: ведь Эрот окрылил сейчас и мои ноги.

Смело я охватил девушку руками и поцеловал. А она от стыда и неожиданности «Что с тобой? — закричала, — как ты дерзок, вестник».

Я же: «Ничего,— сказал, — кроме этой горькой и сладчайшей любовной страсти».

И снова стал целовать ее, снова стискивал в объятии, притягивал всю ее к себе, словно заключал в сердце, сжимал пальцами, всю кусал, всю ее впивал губами и весь приник к ней, как плющ к кипарису. Я сплетался с девушкой, как деревья корнями, старался слиться с ней воедино, жаждал всю ее поглотить и всю ее вновь исторгнуть, всю ее я притянул к губам и, словно из сот, из губ ее пил губами сладкий мед.

А она в этот миг кусает мой рот, все свои зубы зарывает в него, а у меня в душе вырастают Эроты свирепее гигантов.[12] Когда я от боли сомкнул губы и слегка застонал, она «Больно губам? — говорит,— а я страдала душой, когда ты за столом отца опрометчиво отверг мою любовь».

Я отвечаю Исмине: «Пусть все тело у меня терпит боль, а губы да пребудут в почете — ведь они служат моим поцелуям. Если же у тебя, как у пчелы, жало и ты охраняешь свои соты и наказываешь того, кто пришел за медом, я не отойду от улья, стерплю боль от твоего жала и соберу мед. Ведь страдание не лишит меня сладости меда, как шипы не отпугнут от розы».

Я снова стал целовать ее, снова сжимал в объятии и пытался совершить большее; она: «Этого тебе не будет, клянусь Исминой»,—говорила, а я: «Не перестану, клянусь Исминием», — отвечал.

И началось у нас состязание Целомудрия и Эрота, если только кому-нибудь не будет угодно назвать это Целомудрие Стыдливостью. Эрот с земли подносил чаши огня. Стыдливость, словно с неба, окропляла девушку водой. Эрот опустошил весь свой колчан, а Стыдливость обороняла Исмину, как щит семикожный;[13] он подносил свой любовный факел к самым моим глазам, так что пламя его проникало мне в душу, она источала из очей Исмины целые потоки слез. Но вода Стыдливости не могла залить огня Эрота, и вот уже победа в моих руках, и Эрот поборол бы Стыдливость, если бы у ворот в сад кто-то не стал (о несчастье!) разыскивать Исмину. Сильно испуганные этим, мы расстались друг с другом: дева (пусть снова она будет названа девой — так было угодно Целомудрию и богам) очутилась у водоема и, сев вблизи венчавших его птиц, стала играть ими.

А я вернулся в дом, тотчас лег и из-за стыда, страха и любви почел за лучшее притвориться, что крепко сплю. Мне было стыдно перед своим вестническим жезлом, перед лавром, венчающим мою голову, священными сандалиями, почтенным хитоном, Диасиями; Сосфена, Панфии и всего Авликомида я боялся, но больше всего жалел Исмину из-за любви к ней.

А прекрасный Кратисфен поднялся со своего ложа и вышел в сад. Не найдя Исмины и не слыша голосов в доме (Кратисфен был свидетелем того, что произошло), он подошел ко мне со словами: «Напрасно притворяешься!».

Я вскочил, весь дрожа, а он прибавил: «Что за трусливый вестник!».

Но я снова задрожал и, стремясь увидеть Исмину, «Я погиб, Кратисфен!» — воскликнул. «Молчи,— говорит Кратисфен,— пойдем спать»:

Ведь мудрость в том, чтоб и среди бед разумным быть! [14]

Я молчал, но сон возненавидел мои глаза и бежал от них прочь. Я лежал бессонный, непрестанно придумывая различные решения, и, наконец, — сказал себе: «Впредь не придется мне целовать прекрасную Исмину, впредь любовно не стисну ее пальцев, впредь не обовью ее, подобно плющу, впредь не нектар приготовлю себе, а чашу горечи, впредь не соберу меду, не буду ужален, не вопью девушку губами, откажусь от всего, чего жаждал, заводя с ней любовные игры». Так я думал, и слезы ручьями лились из моих глаз; они захлестнули и затопили мои мысли и, опьянив, усыпили меня.

## КНИГА ПЯТАЯ

Когда я заснул, целый хоровод снов обступил меня, играя со мной и, как свойственно снам, обольщал. Один рисовал мне Исмину, нежно со мной играющую, Исмину лобзаемую и лобзающую, терпящую мои любовные укусы и в свою очередь кусающую, всю сплетшуюся со мной и любовно меня обнимающую. Другой положил Исмину рядом со мной и устлал ложе любовными радостями, поцелуями, легкими касаниями, прижиманиями, сплетением рук, ног и тел. Третий создал перед моими глазами купальню и заставил Исмину мыться вместе со мной, пустил в ход все любовные чары; он приблизил к груди девушки мой рот, зубами вонзающийся, губами сосущий, языком провожающий медвяный сок в душу. То же самое девушка сделала с моей шеей. Любовной забавы ради мой сон раскалил купальню; когда я почувствовал жажду и прямо сгорал от жары, он показал мне сладкие источники ее груди, заставил приникнуть к ним ртом и охлаждал бушующий в моей душе пламень, источая охлаждающее наслаждение, сладостью превышающее нектар, а под конец усыпил нас в объятиях друг друга.

Другой сон построил брачный покой, богатым свадебным нарядом убрал Исмину, с почетом из родительского дома провожал, как и меня украсил прекрасным венком, усадил рядом, поставил стол, заставил звучать гимений,[1] а вокруг стола поместил пляшущих и, как им привычно, шалящих Эротов.

Новый сон, еще сильнее растрavляющий мне душу, показывает сад, вводит туда Исмину, поднимает меня с ложа, подводит к девушке, спешествует моей любви. Я увлекаю деву сначала против ее воли, удерживаю, стискиваю, кусаю, целую, приникаю к ней и, стремясь совершить большее, борюсь с девушкой и превращаю любовь в распрю. В это время появляется ее мать и, схватив Исмину за волосы, влечет, как захваченную на войне пленницу, и поносит языком, и бьет рукой. А я застыл, словно сраженный громом.

Но этот безжалостный сон не убил во мне чувств и заставил голос Панфии звучать наподобие тирренской трубы,[2] изобличающей меня и сетующей на мой приход: «Какой театр, какое притворство! — говорила она,— о, Зевс и прочие боги! Вестник, девственник, увенчанный лавром посол, принесший в Авликомид весть о Диасиях, тот, кого мы принимали с божескими почестями,—прелюбодей, распутник, насильник, новый Парис [3] в Авликомиде, похищает мое сокровище, выкапывает мой клад! Но ты не уйдешь, разбойник, тать, нечестивец, похититель моей самой дорогой драгоценности. Матери, хранящие свои сокровища, дочерей-девственниц,

и неусыпно блюдушие их: вот я держу злодея, который, обманув лавровым венком, почтенным хитоном, священными сандалиями и принесенной им вестью целиком нарядился в шкуру льва, но целиком это театральная игра. Сладкий зефир целомудрия уличает хитрость, обнажает тайну: теперь вестник более не вестник, а тать, разбойник, тиран. Женщины, мы покроем дерзкого каменным хитоном [4] — запечатлеем его лицедейство, увековечим его притворство, на каменном хитоне запишем его дерзость, чтобы это служило женщинам славой, девам опорой и венком Авликомиду

Не женами ль сыны Египта умерщвлялись?  
Весь пол мужской от них на Лемносе погиб.[5]

Разве не женщины вырвали глаза Полиместору».[6]

Так она сказала, вооружила целую рать женщин, распалила и повела их против меня, а я содрогнулся, глядя на все это, и стал говорить Кратисфену: «Я погиб, Кратисфен». Он, разбуженный моими словами, вскакивает с постели, ударяет меня рукой и прогоняет сновидение из моей души, а сон с глаз. Мне чудилось, боги свидетели, что женщины все еще передо мной, и я твердил: «Мы погибли, мы погибли: Панфия — предводительница, женщины — войско, а первый, кто пошел на меня за мой обман войной, — Зевс».

Кратисфен говорит: «Ты, мне кажется, еще не проснулся». Я в ответ:

Расстаюсь я с ночным сновиденьем [7]

и стал рассказывать про то, что мне пригрезилось: как сны обольщали меня, какое даровали блаженство, какие картины мне в угоду рисовали и, наконец, про сад, Исмину, ее целомудрие, мою нескромность, про распрю, появление в это время Панфии, про то, как она повлекла дочь, про ее злоумышление, нападение, дерзость и под конец про женскую рать. «Охваченный из-за всего этого сильным испугом, я стал звать тебя, прекрасный Кратисфен. Боюсь, что божество показало мне во сне будущее: ведь нередко оно предвещает в сновидении то, что ждет человека».

Кратисфен в ответ: «Сон — это то, что заботит нас наяву. Все это тебе пригрезилось оттого, что шум у ворот испугал вас, но я уже вижу, что к нам спешит Сосфен».

«Я, — прошептал я, — погиб».

Сосфен приближался и, дойдя до наших дверей, «Вестник, Исминий, — говорит, — вот весь Авликомид собрался у ворот, все ищут вестника. Увенчай голову, надень хитон и сандалии, весь облекись своим вестничеством, чтобы тебя почтил Посейдон и даровал ради Зевса попутный ветер в Еврикомид».

А я, хотя страшился, хотя дрожал, хотя подозревал Сосфена в притворстве и считал все искусной игрой, облачился в свое вестническое одеяние. Выйдя в сад, я вижу неисчислимую толпу девушек в красивых хитонах и с лавровыми венками, указывающими на то, что они девственны. И вот, клянусь владыкой Эротом, мне показалось, что мой сон сбылся наяву. Еще немного и я испустил бы дух, если б в середине этой толпы, подобно луне среди звезд, не увидел Исмину, всю по-царски убранную, с головой, увенчанной, как подобает девственнице, лавром. Я пристальным взглядом с головы до пят окинул Исмину и, наклонив голову, украдкой приветствовал ее. А она, сделав вид, что поправляет хитон, ответила более откровенно-

ным приветом и, сладостно улыбнувшись, наполнила всю мою душу несказанным блаженством, прелестью и успокоением.

Я подхожу к воротам сада и вижу, что весь Авликомид пышно провожает меня песнями, кимвалами, факелами, убранными портиками, розами, цветами, гимнами, громкими кликами, — всем, что подобает не вестникам, а богам. Боясь показаться тебе честолюбцем, стремящимся шаг за шагом описать эти проводы, скажу, что прекрасный, женами славный Авликомид, родину Исмины, я покинул, как олимпийский и победитель в пятиборье [8] и, чтобы не останавливаться на подробностях, возвратился в мой Еврикомид.

И снова весь город поднялся, снова толпа окружает вестника, снова в городе начинается соперничество. Мне кажется, что город Еврикомид, моя родина, соперничал с самим Авликомидом, родным городом Исмины, не уступая друг другу первенства в пышности встречи. И вот столь блистательно, столь торжественно, столь по-царски я приближаюсь к алтарю Зевса-Гостеприимца,[9] а за мной следуют все, кто прибыл со мной из Авликомида.

Мой отец Фемистий и мать Диантия тут же посреди блистательного театра, тут же посреди толпы обвивают меня руками, приникают ко мне, кидаются в объятия, обливают меня слезами радости и ведут домой.

А я: «Пригласите и Сосфена,— сказал,— он пышно и богато принял меня в Авликомиде».

Отец Фемистий исполняет мою просьбу и, подойдя к нему, «Привет тебе, Сосфен, — говорит, — и благодарность Гостеприимца-Зевса за то, что ты привечал вестника» и вместе с нами привел в наш дом и его, и Панфию с Исминой, и остальных, кто прибыл с Сосфеном из Авликомида в Еврикомид. Мы приходим, нас ждет стол, мы занимаем за ним места. С той стороны, где сад, — мой отец Фемистий, мать Диантия и третий я, уже без вестнического одеяния, с другой — Сосфен, отец Исмины, и мать Панфия; порядок пира отводит Исмине место за местом матери. Мысленно похвалив этот порядок, я почитал себя блаженным, видя в этом благоприятное предзнаменование, в самом, как говорится, расположении усматривая залог любовной удачи.

Пришло время наполнить чаши, и между нашими отцами Сосфеном и Фемистием разгорается короткая борьба: не раздор, а прение рассудительных старцев. Победенный Сосфен пьет первым, а победитель Фемистий вслед за ним (ведь победа для них то, что неразумные люди считают поражением), а после Сосфена и Фемистия - женщины, почтив молчание, так как молчание — украшение женщин.[10]

После Панфии и моей матери Диантии Кратисфен с кубком подходит ко мне — отец велит ему разливать вино. Я, взяв кубок, отпил немного, а затем возвратил, словно передумал пить, и стал корить Кратисфена за то, что он нарушил порядок пиршества: ведь сидящей напротив меня девушке полагалось пить сперва. Кратисфен не стал спорить и поднес кубок Исмине. Она взяла его обеими руками и как девушка держала кончиками пальцев. Поняв смысл происходящего, Исмина благодарит меня, в знак любви немного наклонив голову, словно кипарис, чуть колеблемый легким ветром. Это движение, полное прелести, было подобием Эрота. Так мы делили между собой кубок, пили сообща и впивали любовь, так в необычном поцелуе, слив губы, глотали пленительный напиток любви и глазами влекли друг друга себе в душу.[11]

Снова пришло время наполнить чаши, снова Кратисфен смешивает вино, снова первым пьет Сосфен, вслед за ним мой отец, затем, в привычном порядке, Панфия и моя мать Диантия, а после нее Исмина, дева, дышащая любовью. Она, как делают девы, берет кубок кончиками пальцев, как дева подносит к губам, едва пригубливает и возвращает полным, прикидываясь, что по-девичьи застыдилась.

Я обращаюсь к Кратисфену (от меня не утаилась ее уловка, потому что я не сводил глаз с девушки, всю ее запечатлевал в мыслях, всю рисовал в воображении; кроме того, вестничество разгорячило меня, и мне хотелось пить): «И мне дай кубок».

А он (что ему оставалось делать?) подал, и, Эротом клянусь, мне чудилось, что я пью самое деву. Я любовно целовал ее губы и, целуя, скрывал, что целую. Услужливый кубок подносил мне губы моей любимой Исмины.

Я пил вино, и, клянусь богами, такая же сладостная влага, какую я пил во сне из груди Исмины, лилась мне в самую душу. Я стал внимательно рассматривать кубок, не осталось ли на краю следов ее губ. А она, заметив все подряд, мое движение и взгляд, и то, с каким наслаждением я пил, нежно улыбнулась, как в зеркале отразив в глазах Харит [12] и Эрота.

После богатых яств, которыми наслаждались только мои руки и рот (ведь глазами и всем, что способно более остро чувствовать, дева любовно завладела, и теперь они служили ей), Кратисфен вновь принимается за свое дело и после наших отцов и матерей с чашей вина подходит к Исмине, а она вновь отпивает немного и девическим голосом говорит матери, словно сосна зашептала бы на легком ветру: «Я не хочу пить, матушка».

Тогда Панфия говорит Кратисфену: «Дитя, возьми кубок». Он, приняв его из рук девушки, передает мне. Снова мне почудилось, что вся дева у меня в руках, и я всю ее впиваю. Я держал чашу, полную поцелуев, передающую поцелуи, и поцеловал поцелуи. Вино было для меня нектаром, [13] который prepares Афродита и пьют Эроты, а чаша — зеркалом, отражающим в мою душу всю Исмину с самими Харитами, с самими Наслаждениями.

После множества яств, кубков с вином и всего, чем принято украшать пиры, пир наш окончился. Отец мой Фемистий и мать Диантия провожают Сосфена, Панфию и прекрасную Исмину в отведенный им покой. Так мы расстаемся, и мать моя Диантия обнимает Исмину и целует лицо девушки. Я почувствовал зависть к матери и рад был бы, клянусь богами, изменить свою природу, но, так как это было невозможно, поцеловал мать в губы, при помощи такой уловки целуя лицо Исмины; мать стала пособницей моей любви и передавала мне поцелуи любимой. Не знаю, что мой отец и мать чувствовали к девушке и как с ней расставались. Я же только ногами уходил от нее, оставив девушке свою душу, глаза и помыслы, словно на хранение или в залог.

Когда я лег, мной завладели тысячи мыслей, осаждая мою душу, как добычу, похищая с глаз сон. Я восхищался гостеприимством Авликомида, который простирал его вплоть до того, что мне мыли ноги. «У нас же, где стоит алтарь Зевса-Гостеприимца и где празднуют Диасии, гостям не моют даже рук. Почему я не мою ног Исмины, как она, оказывая мне честь, мыла мои, почему, подобно ей, не целую, не стискиваю и любовно не ласкаю девушку, как тогда она ласкала меня?».

Так я терзался от любви и почти всю ночь провел в любовных помыслах об Исмине. Бессонные мысли об Исмине были моим сном и наслаждением. Но усталость стала закрывать мне глаза, и начался спор между усталостью и любовью; глаза, точно осажденный город,[14] — предмет распри. Тяжелая усталость, точно из какой-нибудь осадной машины, метала в мои глаза сон, а любовь, крепко защитив их нагромождением мыслей, противостояла натиску, но после многих попыток усталость взяла верх и похитила у любви победу, метнув, словно из жерла осадной машины. легкий сон в мои глаза.

Около третьей стражи ночи [15] отец мой Фемистий и мать Диантия с Сосфеном, Панфией и всеми, кто прибыл с ними из Авликомида, собрались с дарами у алтаря, чтобы принести жертву Зевсу-Спасителю и совершить полагающиеся обряды. Исмину оставили дома одну, так как девам не подобает появляться на людях.[16] А я (это было мне известно) сейчас же устремился к постели Исмины и поцеловал спящую. Она, испуганная этой неожиданностью, вскочила с постели со словами: «Что случилось». Я остановил ее, сказав: «Не бойся, владычица, это я — Исминий» и с этими словами снова поцеловал ее.

Она: «Где отец и мать?» — стала спрашивать.

Я ответил: «Пошли к алтарю Зевса-Гостеприимца, чтобы принести жертвы» и прибавил: «А мы разве не станем приносить жертв Эроту? Пожертвуем ему и нашу девственность и самих себя без остатка». Обнимая и целуя Исмину, я любовно приник к ней.

Она поцеловала меня в ответ, но как девушка стыдливо скрывала, что целует. Я же стал целовать с большей страстью и, кусая зубами, вкушал любовные яства, которыми Афродита угощает влюбленных. Исмина же негромко стонала от любви, и этот негромкий любовный стон вливал в самую мою душу наслаждение. Приникнув к деве, как к виноградной лозе, и давя ртом еще не спелые ягоды, я пил нектар, который выжимают Эроты; я выжимал его пальцами и пил губами, чтобы он весь до капли, как в сосуд, влился в мою душу. Столь ненасытным я был виноградарем. Она отвечала на мои поцелуи и сама целовала, подобно плющу, вилась вокруг меня; тысячи Харит [17] водили возле нас хороводы.

После объятий, поцелуев и многих других игр, чему научают Эроты, я решил испить любовь целиком и, оставив любовные шалости, перейти к делу, чтобы вороны не граяли на недостроенном доме.[18] Она изо всех сил оборонялась — руками, ногами, языком, слезами, «Исминии, — говоря, — пощади мою девственность; не срезай до срока колосьев, не срывай розу, пока она не раскрылась, не тронь зеленого винограда, чтобы вместо нектара не получить уксуса. Ты срежешь колос, но когда нива зазолотится; сорвешь розу, но когда она расцветет, соберешь виноград, но когда увидишь, что гроздь потемнели. Я для тебя неусыпный страж, надежная ограда, неприступная стена. Что тебе за прок похитить мою стыдливость? Я пришла девой в Еврикомид, так что тебе за прок отпустить меня в Авликомид не девой? Я люблю тебя, вестник, и не скрываю своей любви, я ранена в сердце и не таю своей раны, я вся горю и не отрицаю этого пламени, однако не отдам своего сокровища — буду блюсти девственность и соблюду ее для тебя».

Так девушка говорила, и слезы у нее лились рекой. Я в ответ: «Из-за тебя я посвящен Эроту, из-за тебя я из свободного стал рабом, из-за тебя променял Зевса-Филия [19] на тирана Эрота. Ничего для меня не значит ни родина, ни отец, ни мать, ни сокровища, которые щедро скопил для

меня родитель, ничто из земных благ. С тобой я умру». Обняв Исмину, я ее поцеловал, слезы потекли у меня из глаз, и, обнимаясь, мы заливались слезами.

Немного погодя Исмина стала целовать мои глаза, и, целуя, говорит: «Исминий, вот тебе последний поцелуй — ведь через три дня я вместе с отцом и матерью возвращусь в Авликомид, а ты останешься в своем родном Еврикомиде, и отец женит тебя на другой девушке. Ты отпразднуешь свадьбу, забудешь меня, столь любимую ныне Исмину, забудешь поцелуи страстные и объятия прекрасные, которыми мы впустую, как во сне, насладились. А я, я и в Аиде не забуду о твоей любви,[20] сладчайший Исминий, и нетронутой буду хранить для тебя мою девственность. Даже поцелуй самого Зевса не предпочту твоим, нет, клянусь всемогущим Эротом, который вложил меня, словно пойманную птицу, тебе в руки».

С этими словами она приникла лицом к моей груди и омочила ее слезами. Я ответил: «Дева Исмина, моя забота, свет моих глаз, родник мой, текущий медом, поток прелести, любя меня, ты говоришь о прощальном поцелуе! Я же, твой возлюбленный и из-за любви твой раб, умру с тобой и тоже сохраню для тебя свою девственность. Ее не отнять у меня ни отцовской власти, ни материнским уговорам, даже если мне предназначат в жены Афродиту, клянусь Зевсом, отцом всех богов, вестником которого я пришел в твой родной Авликомид, рабом твоей красоты вернувшись к себе на родину, в этот мой Еврикомид».

Когда занялся день, я поцеловал Исмину, вышел из ее покоя и, словно на ногах моих были крылья, добрался до своей постели и тотчас отдал должное сну, будто он ждал меня здесь.

## КНИГА ШЕСТАЯ

Мой отец Фемистий вместе с Сосфеном и нашими матерями возвратился от алтаря Зевса-Гостеприимца, совершив надлежащие жертвоприношения.

Мать Диантия, подойдя к моей постели, будит меня, говоря: «Дитя мое, Исминий, время завтракать, а ты еще не прогнал сон с глаз? Вставай и идем к столу: ведь твой отец возлежит уже с Сосфеном и со всеми остальными сотрапезниками». И вот в сопровождении матери я подхожу к столу, и мы занимаем свои обычные места.

Вновь Исмина напротив меня и глазами источает любовь. Пристально посмотрев на девушку, я нагнулся над столом и приветствовал ее, скрывая этот любовный поклон; она в ответ незаметно кивнула, как это делают девушки, наклонив шею. По обыкновению стол украшен богатыми кушаньями, а Кратисфен смешивает вино. Первым пьет Сосфен, вслед за ним Фемистий и в обычном порядке мы.

Сосфен говорит: «Ты, Фемистий, радушно принимая нас, не нам оказываешь почет, а Зевсу-Гостеприимцу. Зевс, отец, да отблагодарит тебя за столь пышные трапезы и прочие твои щедроты, удостоив разделить блистательный пир героев на Елисейских полях и на островах блаженных.[1] А я прошу отправиться со мной в наш Авликомид вместе с Диантией и этим вот прекрасным вестником (он указал рукой на меня) — мы хотим отпраздновать свадьбу вот этой милой моей дочери Исмины. У нас брачные торжества совершаются в пору Диасий, и в скором времени мы, если Зевсу-Спасителю будет угодно, возвратимся в Авликомид. Юноша же, которому предназначено ложе Исмины, наш согражданин, житель Авликомиды; его чаша тройная, доверху налитая счастьем: его душевные добро-



детели несравненны, телесная красота спорит с ними, стремясь не потерпеть поражения, а все прочее соответствует им в полной мере. Такого супруга этой моей милой дочери предназначил я, а еще до меня Зевс. Если ты вместе с Исминием и его матерью поедешь с нами в Авликомид, брачные торжества будут для меня еще счастливее».

Мой отец Фемистий: «Теперь — пиршество Зевса,—говорит,— и время Диасий — отдадим должное тому и другому, будущее лежит на коленях Зевеса».[2]

Так сказал Сосфен, так — мой отец. А я, клянусь богами, вместе с рассудком лишился способности чувствовать и сидел за столом, словно статуя, не сводя глаз с лица девушки.

Глаза Исмины наполнились слезами, она приложила руку к щеке, сдвинула брови и, тяжело вздохнув, говорит Панфии: «Матушка, у меня заболела голова», а та в ответ: «Ступай к себе».

Девушка тотчас встала из-за стола и ушла. Моя мать говорит Панфии: «Кто сглазил эту прекрасную девушку?».

«Отцовский язык, — отвечает она, — упомянувший про брак, о котором мы до сих пор остерегались говорить — ведь Исмина дева и стыдлива».

Дальнейшего я не видел и не слышал — словно слова Сосфена сразили меня, как удар молнии. Ел ли я, клянусь ужасными речами Сосфена, я не знаю. А прекрасный Сосфен, который объявил нам о браке своей дочери, снова начинает говорить: «Довольно нам пировать, Фемистий, довольно было вина и всяких кушаний. Если хочешь, отправимся на покой — ведь ночь снова призовет нас к алтарю и жертвоприношениям».

Так окончилась трапеза, и я, как обычно, ложусь на свою обычную постель; тотчас сон овладевает моими глазами, и я засыпаю, встревоженный душевно неожиданным известием и весь погруженный мысленно в свою горе. Снова обычное время жертвоприношений, снова Фемистий, мой отец и мать Диантия с Сосфеном и Панфией проводят ночь у алтаря, снова я встав с постели, иду к постели девушки, которую прекрасный Сосфен просватал в Авликомиде, и снова целую ее. Она обливает все свое ложе слезами.

Я снова целую ее, говорю: «Что с тобой, Исмина?».

Она: «Отцовский язык,—говорит,—губит меня».

Я ей: «Ты, точно в зеркале, видела мой брак, соединила меня с другой девушкой и винила в том, что я забыл любовные радости, которых ты смешала мне полную чашу. А я, сладчайшая дева, слаще самого меда, самих богов призвал в свидетели, что не обману твоей любви, не предаю страсти и ни на что не променяю твоих ласк. А теперь твой отец, почтеннейший Сосфен, приготовил тебе брачный покой в Авликомиде, дал богатое приданое, нашел жениха, торжественно в его дом отведет [3] и узы брака крепко сомкнет. Я, влюбленный в тебя (я не стыжусь своей любви), увенчаю голову венком девственности и у Персефоны [4] и других подземных богов торжественно и пышно отпраздную свадьбу и войду в блистательный и девственный брачный покой. Ты же предстанешь перед судом за то, что презрела любовь, тебя будут обвинять любовные ласки и эти следы моих рук и губ, которые остались на всем твоём теле. Тебя Плутос [5] богато уверет, меня Плутон [6] в свадебный покой славно поведет. О поцелуи, которыми мы тщетно насладились, о тиски ласк, которые нас напрасно за-

ставляли терпеть боль, о сплетения и переплетения, в которых мы бесполезно приникали друг к другу, о глаза, на свое горе тебя увидевшие, и с тех пор не высыхающие! Эта рука услуживала моей любви, теперь она будет служить мечу, который пронзит мне сердце».

С этими словами я обнял деву и поцеловал, «Воистину, — говоря, — это теперь последний поцелуй.

Прими последнее из слов моих тебе.[7]

Ведь ты блистательной невестой возвратишься в свой отчий Авликомид к блистательному жениху, и тебе торжественно будут петь гименей,[8] а я спущусь в Аид [9] и, собрав хор Эринний,[10] оплачу свое злосчастье. Для тебя прекрасный Сосфен затянет эпиталямий,[11] а отец для меня — похоронный плач; твой отец, сладчайшая невеста, будет петь сладкую песнь, а мой несчастный Фемистий возгласит над мертвым сыном жалобную; Сосфен во главе хора запоеет брачную песнь, а мой отец, несчастнейший из смертных, в одиночестве возгласит печальную и горькую похоронную песнь».

Так я говорил и обливал девушку слезами. Она: «Ты погубил меня, — сказала, — сладчайший Исминий. Ты для меня — отчизна, отец, мать, брачный покой, жених и, по воле любви, владыка. Но (слезы не дают мне говорить) пусть уста моего отца не поглотят у тебя тех нежностей на моих губах, которые тщетно служили нашей любовной игре, пусть не похитят с губ меда, который я, трудолюбивая пчела, напрасно для тебя накопила, пусть не будут столь жадны, чтобы поглотить столько ласк, которые мы, играя, напрасно расточали, вернее сказать, которыми Эроты, играя нами, нас обольщали. Исминий, меня, вот эту Исмину, ты любовью взлелеял, как сад, обведи же меня оградой, чтобы рука путника не причинила мне вреда. Ты жаждешь умереть, но вместе с твоими словами и я отказываюсь жить. Я умру с тобой, как жила с тобой, пока ты жил. Я обнимаю тебя, сплетаюсь с тобой в объятии и разделяю с тобою жизнь также, как стремлюсь разделить с тобой смерть». Говоря это, она обнимала меня и, обнимая, источала из глаз ручьи слез, заливавшие всего меня.

Я: «Если, — говорю, — хочешь, уйдем из моего Еврикомида и твоего Авликомида в другой город и поменяем наши отчизны, родителей, сокровища, богатства на любовь и жизнь друг с другом. Любовь будет нам родиной, родителями, богатством, пищей, питьем и одеждой».

А Исмина, точно перенесенная в царский свадебный покой, подхватив мои слова, говорит: «Исмина — твоя, веди ее. Я умру с тобой». Она встала с постели и последовала за мной, вернее, повлекла меня за собой.

Я говорю: «Но мы еще не готовы к бегству», а она не хотела отпустить моей руки. С трудом, призвав в свидетели всех богов, я вырвался от Исмины и, вернувшись к себе в спальню, стал обдумывать наш побег. Так как заботы не давали мне уснуть, я поднялся с постели и, празднично одевшись, пришел в храм Зевса-Гостеприимца, где Фемистий, мой отец, мать Диантия и Сосфен с Панфией были заняты жертвоприношением.

После богатых жертв, которые принесли мой отец и Сосфен, Сосфен и Панфия, воздев руки к небу и проливая горячие слезы «Отец, Зевс, — сказали, — вот свадебная жертва за нашу дочь Исмину, брак которой мы вскоре собираемся отпраздновать». С этими словами они положили жертву на огонь алтаря. Тут из облаков раздался клекот орла; огромная птица шумно спустилась и схватила мясо, приведя в замешательство всех окружавших жертвенник.

Сосфен, потрясенный, стоял безмолвно, а Панфия упала на землю и, беспощадно терзая свои седины, «Зевс, отец, — закричала, — пощади эту мою седую голову, пощади юность дочери: она мое утешение, она моя отрада, она упование рода, ей я радуюсь и забываю о тягостях старости, от моей, от моей, вот этой дочери, отгони эту зловещую птицу.[13] Зевс, отец, не лишай меня глаз, не гаси моего светоча, не подсекай под корень колоса, не срезай локона всего моего рода. Злосчастливая я мать, злосчастливы мои жертвы, злосчастливы знаменья! Счастливой родительницей я пришла из Авликомида, своей отчизны, горькая я ныне родительница в Еврикомиде. Как деве готовила я моей Исмине брачный убор, ныне стенаю над ней как над покойницей и оплакиваю живую. Ты погибла, Исмина, свет моих глаз, не венчальную, а погребальную песнь пою я тебе, не брачное, а надгробное возлияние приношу для тебя и, по пословице, вместо сокровищ нахожу уголья».[14]

Так причитала Панфия и наполнила храм плачем и стенаниями; она царапала щеки, рвала одежду, камнем ударяла себя в грудь и била по голове. А стоявшие вокруг (ведь они не от дуба или скалы рождены)[15] были растроганы ее слезами и жалобами: поднялся смешанный крик мужчин и женщин. Женщины причитали и били себя в знак печали вместе с Панфией, а мужчин охватили смятение и страх; некоторые из них считали знамение зловещим, другие, напротив, весьма благоприятным, были и такие, кто видел во всем случайность. Так у толпы и речения и суждения были то сходными, то разными.

Мать моя Диантия вместе с отцом Фемистием, подхватив Панфию против ее воли под руки, повели в дом, а я и Кратисфен (ведь и он был там)— Сосфена. Мы возвращаемся домой и застаем у ворот плачущую Исмину: какая-то служанка, придя раньше нас, все ей рассказала.

Снова поднялся похоронный плач и стенания. Ведь мать плач затянула над дочерью, словно над умирающей, дочь над плачущей матерью горько рыдала. Отец мой Фемистий и мать Диантия вводят женщин в комнаты и стараются унять их вопли.

Мы с Кратисфеном уходим в мой покой и вспоминаем обо всем, что произошло после того, как мы покинули Авликомид: как во время пира Исмину посадили напротив меня, как я взял чашу и, только приблизив к губам, отдал поднесшему мне, как сказал, что Исмине надлежит пить до меня, и Кратисфен (по приказу отца он подавал вино) принес чашу Исмине, как девушка взяла ее обеими руками, как благодарила меня кивком головы, как в следующий раз Кратисфен до меня подает чашу Исмине, как она, отпив немного, остальное возвратила, а я, притворившись, что испытываю жажду, взял из рук Кратисфена кубок; вспоминаем и другие наши любовные уловки за пиром; припоминаем, как наши родители уходили из дому для жертвоприношений, наши игры у постели Исмины, любовные клятвы, которые мы друг другу дали, слова Сосфена во время второй нашей трапезы, что он принесет жертву за брак дочери, припоминали о том, как он позвал в Авликомид на эту свадьбу моего отца и меня, наш ужас перед этими неожиданными словами и все прочее, что произошло за столом, о вторичном бдении и жертвоприношениях Сосфена и Панфии у алтаря, о том как Исмина осталась одна, о наших слезах на ее постели и, наконец, о клятвах, которые мы, призвав в свидетели самих богов, дали друг другу.

Кратисфен: «Я знаю, — воскликнул, — что это для тебя счастливое предзнаменование, а для жениха Исмины в Авликомиде — дурное. Если

сам Зевс указывает на похищение и, словно велит его осуществить, зачем ты медлишь? Зачем уклоняешься?».

Я в ответ: «В беде, как говорится в трагедии, яснее познается друг.[16] Обдумай мое бегство».

Кратисфен: «Я тебе помогу», и, сказав мне «Прощай», он ушел, чтобы сделать необходимые приготовления, а я остался.

Тем временем мой отец и мать обсуждали с Сосфеном, Панфией и Исминой происшествие у алтаря.

Я услышал, как дева говорила матери: «Слова Фемистия и Диантии, матушка, должны успокоить волнение твоей души: в них не стремление убедить, но сама правда. Зачем же ты снова всецело озабочена этим и всецело убиваешь себя стенаниями? Зевс не дает согласия на мой брак и не желает, чтобы меня отдали замуж. На это, по твоим словам, указывает знамение. О, попечение о нас и доброта Зевса! А ты хотела моего замужества, хотела, чтобы был заключен этот злосчастный брак! Зачем же, матушка, ты плачешь из-за этого благодетельного знаменья Зевса?».

Отец мой Фемистий похвалил деву, сказав: «Какая ты разумная, девушка и как прекрасно говоришь!» — и обратился к Сосфену: «Если угодно, пойдем к столу. Время Диасий, почти праздник, чтобы Зевс был к нам благосклоннее. Вкусим яств, вкусим сна — ведь близится ночь, и подходит время жертвоприношений, призывающих нас к алтарю».

Панфия говорит: «Больше я туда не пойду и не принесу щедрой жертвы орлу в поднебесье.[17] Довольно с меня жертв, довольно слез, я сыта зловещими знаменьями. Если тот жестокий и злосчастный орел еще не сыт, это тот самый, который когтит бок Прометея, который выклевал его печень! [18] Мое чрево он тоже безжалостно растерзал и поглотил внутренности!».

А Сосфен: «Не произноси столь дерзких и необдуманных слов, чтобы не прогневить Зевса. Послушаемся лучше Фемистия». Панфия говорит Сосфену:

«Уступчив ты, но за самонадеянность,  
За смелость гнева ты не упрекай меня,[19]

ведь внутри у меня все пылает».

По прошествии долгого времени стол накрывают, наконец, в комнате на скорую руку, еда и питье простые и непраздничные. В середине трапезы снова появляется прекрасный Кратисфен и рядом с нами занимает место на блестящих камнях, которыми был украшен пол комнаты. Ужин, если его можно назвать ужином, пришел к концу. Снова мой отец Фемистий говорит Панфии: «Что ты мать и притом мать не только чадолюбивая, но и прекрасночадная — пусть будет сказано — правду я не стану отрицать, но что «Всем женам, — как говорится в трагедии, — страшны родовые муки», [20] — подтвердят все матери. А что

Природа слова истины всегда проста [21]

знают все, и ты в том числе. В честь брака твоей дочери принесены жертвы, которые без остатка похитил Зевсов орел. Если орел — вестник злосчастья и его появление дурной знак, я плохой предсказатель. Если же тебе кажется, что это — несчастливейшая примета и она действительно

такова, тем она для меня счастливее. Ведь если жертва приносится после заключения брака и Зевс не дает на него согласия и показывает это, по-слав орла, не напрасны слезы: Эпиметею [22] боги уделили свойство слишком поздно раскаиваться в своих поступках. Поскольку ты приносишь жертву до того, как брак совершился, чтобы узнать будущее, а Зевс-прозорливец против брака, но благосклонен к тебе, со своей дочерью ты не узнаешь горя. Чего же ты заводишь плач и стенаешь при столь благом предвестье, когда тебе надлежит Зевсу-Спасителю принести щедрую благодарственную жертву за то, что он спас твою дочь от опасности? Иначе ты обвинишь в несправедливости того, кто избавил тебя от волн и огня, за то, что он даровал тебе жизнь».

Мало-помалу Панфию убедили эти слова отца, и, немного успокоившись, она согласилась лечь, с тем чтобы подняться для жертвоприношений. На этом мы разошлись.

Кратисфен, оставшись со мной вдвоем в нашем покое, говорит: «Время не терпит; Зевс вместе со мной обо всем позаботился, и тебя ждет корабль, отправляющийся в Сирию. Гость по отцу [22] живет в Сирии; он окажет нам гостеприимство и радушно нас примет».

Я отвечаю ему: «Если ты не предал нашей дружбы, любишь своего Исминия и считаешь его своим вторым "я", ты отправишься с нами».

Он говорит: «У меня никогда и мысли не было покинуть тебя, и я готов страдать с тобой и страдать за тебя.[24] Меня радует, что ты не медлишь».

Я: «Ты, если хочешь, походи к морю и распорядись обо всем, а я, пока длятся ночные жертвоприношения и Сосфен и Панфия вместе с моими родителями у алтаря, пойду к Исмине и открою ей наш замысел. Твое дело не упустить времени отплытия и позвать нас в гавань».

Кратисфен ушел, а я, лежа на постели, чувствовал, как целые моря забот затопляют мою душу, и волны захлестывали меня, как корабль в бурю и прибой; я печалился, радовался, страшился, смелел, весь был полон наслаждения и страха. Ведь надежда на удачу наполняла мое сердце несказанной радостью, неверие в удачу потрясло страшным смятением.

Пока я боролся с этими волнами, морем и непогодой, сон смежил мне глаза; я вижу перед своей спальней неисчислимую толпу юношей и девушек с венками из роз на головах, с руками, точно цепью прикованными к рукам друг друга, поющих, подобно Сиренам.[25] Песня их славилла Эрота и восхваляла Афродиту. Она была похожа на гимней и на песни, которые перед спальней поют Эроты.[26] И вот все они пели, наполняя мне душу наслаждением и любовной отрадой, и весь я словно был охвачен неистовством из-за любви. Среди этого разноголосого, блистательного и сладостного хора, среди венков, среди песен, среди любовных напевов я снова замечаю того, сидевшего на высоком троне, по-царски облаченного Эрота, ведущего за руку Исмину. При виде его я весь замер. А он говорит мне: «Исминий, вот твоя Исмина» и, вложив ее руку в мою, улетел прочь с моих глаз, увлекая за собой и сон.

## КНИГА СЕДЬМАЯ

Так Эрот передал мне Исмину, и после пробуждения мне казалось, что она все еще со мной, и бог перед моими глазами. Так как пришло время жертвоприношений и снова Сосфен и Панфия вместе с моей ма-

терью и отцом Фемистием отправились в святилище, я снова у Исмины чтобы пожертвовать себя без остатка или всю без остатка Исмину получить в жертву.

Снова я обнимаю и целую девушку, снова она целует и обнимает меня в ответ, и я говорю ей: «Эрот вручает мне тебя, а Зевс вещим знаком указывает на похищение». Она отвечает: «Ты и не повинешься загадочным вещаниям Зевса и залог, вверенный Эротом, не желаешь сберечь. Ты видел жертвоприношение и орла, неужели же ты ждешь, чтобы Зевс стал перед тобой и своими устами сказал бы это тебе».

Я говорю Исмине: «Сейчас мне приснилось, что Эрот держал тебя за руку и вложил ее в мою правую руку».

Исмина поцеловала мне правую руку, а я ей; и снова мы обменялись любовными поцелуями.

Девушка говорит мне: «Сладки, Исминий, поцелуи, очень сладки и исполнены прелести, но жертвоприношения близятся к концу, и снова Исмина будет в Авликомиде, а ты, мой прекрасный Исминий, ты — луг отрад, ты — улей любовных радостей и владыка твоей Исмины — здесь, в этом Еврикомиде. Но, свет моих глаз, сердца одушевление и души моей покой, пусть не поднесут тебе напиток забвения ни время, ни превратности судьбы, ни (это для меня горше смерти) дева из Еврикомида». Снова она целовала меня и снова плакала.

А я, обняв ее всю и всю любовно покрыв поцелуями, сказал: «Ты знаешь Кратисфена, который вместе со мной приплыл в твой родной Авликомид. Он мой согражданин, мой родственник, мое второе "я"». Она перебила меня: «Я ему прислуживала и смешивала для него вино». «Он, — продолжаю я, — нанял корабль и позаботился обо всем необходимом для нашего побега, отправится вместе с нами и во всем нам поможет».

Девушка поцеловала меня в губы, говоря: «Я целую твои уста и при ветствую твои слова, возвещающие мне столь радостную весть».

Снова я обращаюсь к деве: «И Зевс, и сам великий Эрот вверяют тебя этой вот моей руке. Почему же мне не снять спелых гроздьев, которые уже совсем потемнели? Почему не срезать колоса, склонившегося к земле?». Я осмелел и весь предался своему намерению — прикинул к девушке, целовал, сжимал в объятьях, дерзновенно касался, делал все, что служит любви. Но я не мог склонить Исмину.

«Не убедишь, хотя б и убеждал,[1]— говорила она,— я воровски не нарушу брака, уготованного Зевсом».

Такая между нами была любовная битва и игра не на шутку.

А Кратисфен, подойдя к дверям, позвал: «Исминий!».

«Это Кратисфен!» — говорю я девушке. Мой слух был обращен к звукам его голоса, глаза и руки к деве, а внимание к Кратисфену. Мы с Исминой встали с ложа, охваченные стыдом и радостью, и, подбежав к двери, сказали Кратисфену: «Здравствуй».

«Не время, — отвечает он, — медлить. Пойдем в гавань, взойдем на корабль, покинем Еврикомид». Так он сказал и вышел, мы последовали за ним.

Придя в гавань, мы воздели руки к сверкающему небу со словами: «Зевс, отец, повинуйся тебе и твоим знамениям, мы отправляемся в этот путь. Твой сын Эрот обложил нас осадой и как свою добычу увлекает прочь от родины. Ты же, о Посейдон, пошли нашему кораблю попутный, а не встречный ветер. Не противоборствуй тихому ветру Зевса и легкому дуновению Эрота, которые счастливо привели нас сюда».

Помолившись так и взойдя на корабль, мы поплыли при попутном ветре. Ведь сначала Посейдон нежно дул нам в корму, натянул паруса, придал кораблю крылья, нес нас охотно. Мне корабль был ложем, колени Исмины постелью, и, распростершись, я так сладко спал, как, клянусь Эротом, никогда. Девушка же, прижимая губы к моим глазам и губам, тихо целовала меня: корабль стал для нас брачным покоем, ложем, постелью и спальней. Эрот, проникнув в душу и поработив ее полностью, заставляет забыть обо всем остальном и всю ее полностью приспособляет к себе.

Так проходила ночь; когда же над землей поднялось солнце и ночь миновала, Посейдон насылает встречный ветер, изо всех сил дует в нос корабля и старается захлестнуть его волнами и увлечь в пучину вместе с людьми, с грузом, с ульями Эрота, полными любовного меда (сколько бы Посейдон ни тщился наполнить их вместо сладости полынью), прекрасной Исминой и мной, Исминием. О, ужасное морское волнение, о, горчайшее кораблекрушение! Порывы ветра бросали корабль, волны перекатывались через него, и все мы еще до того, как нам погрузиться в морскую бездну, испускали дух и лишались жизни.

Дева же, крепко обхватив мою шею, обрушила на меня еще более ужасную и устрашающую бурю, лила из глаз целые моря слез и всего меня затопляла своим криком, своим объятьем, своими слезами. «Исминий, — умоляла она, — спаси свою Исмину! Жестокий ветер вырывает меня из твоих рук, безжалостный ветер гасит меня, твой любовный светильник, высокая волна хочет залить любовный огонь. Ни отец, ни мать, ни родина, ни богатства не отняли у меня твоей любви, ныне же ветер и волны похищают меня из твоих рук. Эрот записал нас в рабство друг другу, Зевс во время жертвоприношений дал знак, чтобы ты похитил меня, а жестокий и бурный Посейдон вздымает водяные горы, противоборствует знамению Зевса и волнами смывает запись о нашем любовном рабстве. Я бежала от отца, но кораблекрушения не избежала, скрылась от матери, а от тебя, Посейдон, не могла скрыться.

О, мать, теперь тебе надо плакать — девой я вырвана из твоих рук и девой сойду в Аид.[2] Это предсказал тебе орел. Корабль у меня — брачный покой, волна — могила, рев ветра — гименей,[3] а невеста — я, дева. О, небывалый брачный покой, о, горький брак, о, наше злосчастное бегство! Спасаясь от дыма, мы попадаем в пламя, а горящих в пламени, нас поглощает море. О, ветер судьбы, жестоко и беспощадно налетающий, губящий нас в пламени и воде!».

Так говорила девушка, глазами споря с морскими волнами, голосом — с громким ревом ветра, и, опережая потоки вод, пучину и море, затопляла всю мою душу.

Я отвечал: «Исмина, дева (ведь это имя даровало тебе божество), напрасен наш побег и все остальное, к чему мы тщетно стремились. Воистину Эрот насмеялся надо мной, и сны, которыми он меня тешил, воистину только сны и видения. Ведь полные кратеры [4] огня, которые он заставил пылать в самом моем сердце, морские волны грозят потушить. Но

даже если извергну целые моря воды, мне не загасить пламени, которое Эрот возжег в моей душе, воспользовавшись, словно хворостом, Исминой. Я сплетусь, дева, с тобой, в объятии, вместе с тобой меня увенчает пена волн — я уготовил тебе брачный покой под водой. Быть может, Посейдон сжалится, увидев, как мы обнимаем друг друга. Истинно этот корабль — ладья смерти, доставляющая в Аид мертвецов,[5] истинно — покой Амфитриты [6] и брачный терем Персефоны,[7] истинно — пресловутая Сирена».[8]

Девушка говорит мне: «Материнское проклятие воздвигает против меня эту бурю, материнские руки, воздеваемые к небу, толкают нас в пучину и топят на ее дне. О, слова матери, ввергающие нас в бездну моря, о, ее руки, поднимающие все эти волны, о, кипение ее души, цепенящее наши души. Ведь мы уже, как говорит поэт, вкушаем леденящий холод Аида.[9] Но, мать, утишь свои пени, чтобы Посейдон утишил непогоду, опусти руки, чтобы мы спаслись, пощади наши жизни, уйми плач, чтобы защитить нас от бури, волн, морского волнения и пучины».

А обращаясь ко мне, Исмина говорит: «Вот сбываются мои клятвы — я умру с тобой, и в этом мое утешение. С тобой и жизнь мне вожделенна и смерть не презренна. Так мы умираем еще до смерти, души наши спускаются в подземное царство и отлетают от нас, девственные, свободные из-за своей добродетели, рабы из-за своей любви, вместилища любовных страстей».

Тут кормчий говорит: «Сотоварищи по плаванию, разделяющие со мною опасность и смерть, ветер свирепствует, один за другим катятся валы и вздымаются до самых облаков; парус разорван, корабль залит волнами, у меня не достает уже сил противостоять потокам морских вод, свирепству бури и встречным ветрам. Довольно сражаться с морем, ведь против нас Посейдон. Почему мы, как того требует обычай моряков (обычай этот — жеребьевка), не совершаем молитвенных возлияний и жребием не определяем жертву?».

Так говорил кормчий и, говоря, плакал, а наш удел — бедой врачевать беду. Смертельный жребий выпал Исмине; тут же не виданный до толе огонь, жрец и алтарь; огонь это — море, волна — жертвенник, прекрасный кормчий, послушный морскому обычаю, — жрец, а жертва (о, мое сердце, не разорвись от печали!) — дева Исмина, обняв которую и прильнув к ней, я, злосчастный, укрылся на самом дне корабля.

А Кратисфен молит моряков, «Сжальтесь, — говоря, — над красотой и молодостью девы». Но, по словам трагедии,

Сильней огня морское своевластие [10]

едва не ввергло Кратисфена в море, а Исмину не вырвало из моих рук.

Кормчий, мудрствуя по поводу чужих несчастий, изрек: «Хрисеиду тоже отторгли от царя Агамемнона, но это гнев Аполлона смирило и войско от мора освободило.[11] Давайте же принесем девушку в жертву нашему богу, бросим ее в море, себя же избавим от горя».

Так, сидя на возвышении, разглагольствовал всезнающий кормчий, но не мог вырвать деву из моих рук. «С ним или на нем!» — воскликнул я, как говорят лаконцы, подразумевая свой щит.[12]

Наш корабль был воплощением войны и бурных распрей. Морское волнение увлекало его в пучину и тянуло на дно, а моряки влекли девушку из глубины корабельного чрева и из моих рук. Подобно руке Аб-



радата,[13] мои руки тянулись к любимой, так что те, кто влек Исмину, влекли вслед за ней и меня, и я молил тоже предать меня пучине и тоже принести в жертву волнам. Сострадавшие мне соглашались на это, вернее, более сострадали мне те, кто не соглашался.

Наш премудрый кормчий снова стал философствовать и разглагольствовать. «Посейдон, — говорил он, — требует девушки, и на нее пал жребий; она — жертва и искупление наших жизней. Возьмите девушку из его рук, вырвите из объятий, предайте морской пучине и волнам».

И вот деву отторгли от меня, сняли с нее хитон и обнаженной передали в руки кормчего; этот премудрый кормчий и жрец, приносящий неслыханные жертвы, взял девушку, морские волны глазами объял:

«Вот тебе, владыка Посейдон, жертва и искупление», — сказал (только бы ты, моя душа, не вырвалась за ограду зубов)[14] и бросает девушку в воду.

А я крики, оглушающие уши и самое мою душу, бросил ей вслед и готов был своими слезами затопить весь корабль, «Исмина, — взывая, — Исмина».

Исмина словно выпила морскую бездну и осушила все море, подобно отливу, поглотив все ветры, даровала морю после бурного волнения безветрие и тишь.[15] Мою же душу она всю привела в смятение и всю потрясла. А моряки и кормчий словно встречали сладостный приход весны и пили кубок наслаждения после таких ужасов, бури, непогоды и бушевания волн.

Испив чашу горечи и целые моря полыни, я сполна возвратил их устами и очами, заливая корабль, возбуждая новое волнение и новую бурю. Кормчий, не в силах терпеть моих стенаний и считая погребальный плач дурной приметой, ведет корабль к берегу и покидает меня там.

Сидя на прибрежном песке, я горько оплакивал постигшую меня беду и так совершал надгробное возлияние над девушкой: «Исмина, — говоря, — Исмина, свет, покинувший мои глаза, птица, вырвавшаяся из моих рук (о, злосчастное кораблекрушение, о, достойное слез морское волнение, о, тишь, еще горшая для меня, чем буря), ты похищена у меня непогодой и прибоем волн, а мою душу ты погрузила в пучину, затопив ее морем стенаний. Свою душу ты выдохнула девственной и погибла, увенчанная морской водой; мою голову и душу жалостно увенчали страдания, вопли и слезы. Брачный покой и могила тебе — море, спальничий — я. Я не буду петь тебе свадебную песнь, не буду в лад брачной песне хлопать в ладоши, но на прибрежном песке, как над кенотафием,[16] сплету тебе горькие могильные напевы и, скликав целый хор nereид,[17] буду жаловаться на свое несчастье.

О, свирепость морских валов, горечью напитавшая мои чувства, о, буря, захлестнувшая морскими пенами мой брачный покой и невесту, о, мое злосчастье, о, противный ветер нашей судьбы, о, колчан, который Эрот опустошил, метя в мое сердце. Увы, любовное пламя, полные кратеры [18] которого Эрот зажег в моем сердце. О, царь Эрот, могущественнейший из всех богов, владыка над душами, мечущий стрелы и увлекающий вместе со взорами сердца, палящий внутренность и в пепел сжигающий души! О, повелитель сновидений, если не всех, то по крайней мере обманных, этот бурный Посейдон избочичает тебя!

Ты предстал предо мной вооруженным, и вот я пронзен стрелами, огненосным — вот у меня горит душа, ты предстал крылатым — я не избегнул и твоих крыльев. Но тебе уже пора воспользоваться своей наготой в противоборстве с Амфитритой [19] и самим Посейдоном. Ведь они, царь, похитили сокровище, которое ты мне доверил, твою Исмину, чью руку ты вложил в мою, они унесли мое богатство. Оставь огонь и стрелы, сложи крылья. Если тебе не угодно, тогда во всеоружии всего этого погрузись в пучину и выведи со дна морского Исмину, одно имя которой заставляет гореть мою внутренность и воспаляет мне душу.

О, представшие мне во сне услады, о лобзания, легкие касания, объятий сплетения и переплетения и прочие любви измышления! Горе снам, поработившим меня. Все они воистину только посмеялись надо мной.

О, Зевс, прозорливейший из богов, воистину твое зловещее знамение нелживо указало мне на будущее — ведь дева Исмина насильно вырвана из этих жалких рук. Но я не соблюл своих обетов: ведь я клялся богами умереть с тобой, Исмина, и разделить с тобой смерть. Ныне же тебя скрывает мрак, а до того волны жалостно поглотили тебя, а я гляжу на свет, и волны бегут мимо меня. Тебя вручили Аиду,[20] меня земле, твои губы, этот полный меда улей, сомкнуты, мои, разверстые страданием, кричат тебе о смерти и, словно ужаленные пчелой, горят от боли. Ты, быть может, будешь корить меня за то, что я забыл тебя, я же, точно души наши слились воедино, выдохну память о тебе вместе с жизнью, вернее донесу ее до подземного царства и до самой реки забвения,[21] рыдая горько, жалостно и безутешно».

Так я стонал; слезы лились у меня из глаз и, подобно морю, кипели, волновались и заливали меня.

Посреди всего этого сон незаметно спускается на мои глаза и всецело завладевает мной. И снова ночью я вижу во сне Эрота; Эрот был тот, что нарисован в Авликомиде; он говорит мне: «Радуйся, Исминий».

Я ему: «Но я терплю ужасные муки; ведь сокровище, которое ты вручил мне, твою Исмину и мою деву, этот бурный Посейдон беспощадно похищает из моих жалких рук, взбунтовав все море, подняв все волны. О, владыка Эрот, я видел, что весь род Амфитриты значит у тебя в рабстве и трепещет перед твоей наготой. Спаси же, владыка, из пучины и моря Исмину, деву столь прекрасную, столь юную, столь дышащую любовью, верную твою рабыню, отдавшую и меня, ее любящего, тебе в рабство. Пронзенные твоими стрелами, владыка, мы оба покинули свою отчизну. С внутренностью, горящей твоим огнем, мы не однажды целые ночи бессонно томились;[22] уповая на твое могущество, владыка, мы начали плавание и презрели опасности открытого моря. О, могущество твое или мое злосчастье! Посейдон приводит в волнение все валы, изливает на море весь свой гнев, жаждет весь корабль захлестнуть волнами и Исмину (сжался над нею, владыка Эрот!) беспощадной рукой (увы!) вырывает из моих злосчастных рук. Но, Эрот, повелевающий всем...».

Тут бог взмахнул окрыленными ногами и, прилетев на самую середину моря, погружается в волны, на дно пучины и вскоре вновь стоит передо мной, держа за руку Исмину, с которой еще струится вода словно ее омыли Хариты,[23] и вручает девушку мне. А я, обретя Исмину, пробудился от счастья. Но все это снова были только покорные Эроту сны.

В такой радости и блаженстве я проснулся и, напрягая зрение, старался увидеть Исмину, но ее нигде не было. Вместо нее я замечаю на берегу толпу, несчетную толпу эфиопов, диких людей, взглянув на которых, клянусь морем обрушившихся на меня бед, я тут же вскочил на ноги, надеясь, что продолжаю грезить. Но все было явью — они видят меня и, схватив за волосы, с варварской беспощадностью, словно пойманного на охоте зверя, влекут на триеру (она у них стояла на суше, укрепленная на кольях и канатах) и, бросив в трюм, сажают за весло.[1] Затем сталкивают триеру в воду, подобрав все канаты, и корабль веслами окрыляют, множество которых — гордость триер. Достигнув защищенной от ветров и удобной гавани, эфиопы становятся там на якорь, немного подкрепляются пищей и питьем (т. е. хлебом и водой, которые у них были) и ложатся спать, на носу и корме расставив на это время караульных.

Около третьей стражи ночи [2] они встают ото сна, снова окрыляют корабль веслами и выходят из гавани. Приблизившись к какому-то городку и в молчании пристав к берегу, они берут в левую руку щит, правой привычным движением обнажают мечи и, полностью вооруженные, со всех сторон, словно пчелы соты, окружают городок. С варварскими невнятными выкриками вооруженные бросаются на безоружных, бодрствующие на спящих, наносят раны, как дикие звери тащат добычу, разоряют городок и похищают все на своем пути, а заодно и женщин, заодно дев, юношей, мужей, всех, кого варварский меч не обрек Аиду. Когда пираты снесли награбленное добро на триеру и заняли свои места, она поспешно покинула гавань.

В открытом море пираты укрепляют корабль веревками, словно на надежном причале, и начинают делить добычу. Со всех захваченных в плен мужчин, со всех юношей, со всех девушек и женщин эфиопы срывают хитоны, и все они стоят ничем до самого срама не прикрытые и совершенно обнаженные. Корабельный трюм ожидал юношей и мужчин, женщин позор и разнузданность варваров, на девушек же, не знаю отчего, может быть, по какому-нибудь варварскому обычаю, кто-то набросил рваную одежду, их не коснулась своевольная рука и они избегли варварского посрамления.

Так подло обойдясь с женщинами и учинив множество других мерзостей, пираты начали пировать. Стол у них был богатый, а не такой варварский и жалкий, как недавно. Мужчинам, как сказано, был отведен трюм, девушкам — нос корабля, женщины же позорно возлегли вместе с варварами за пиршественные столы. После богатых, как уже говорилось, кушаний и гнусного, подлинно кровавого пиршества они сажают юношей (их было немного) за весла: все, кто был старше этого возраста (о жестокосердие варваров), стали жертвой мечей, а головы их эфиопы бросили в море; женщины постыдно возлежали рядом с пиратами. Триера была приютом бесстыдства и местом кровавого пиршества. Так прошла ночь.

Когда же мрак рассеялся (ведь над землей встало солнце) и желанный свет улыбнулся нам — то был свет дня — варвары поднялись со своего брачного ложа; все они были опьянены наслаждением и что-то забормотали на своем языке, точно разговаривая друг с другом. Вслед за шумом, который обычно поднимают моряки, особенно если они варвары, какая-то чуждая и невнятная песня послужила знаком, чтобы украсить корабль белым парусом. Ветер, налетев с кормы, надул его, и триера уподобилась коню, бьющему копытами по земле.

Опуская подробности, как бесчинствовали пираты, как бесстыдно обходились с женщинами, и все остальные непристойные и варварские их поступки, скажу, что при благоприятном ветре мы приблизились к Артикомиду [3] и видим на берегу толпы людей из этого города. После ведомых варварам возлияний, которые устанавливают мирные отношения между пиратами и жителями материка, триера принимает нескольких заложников, а берег — добычу, которую пираты захватили в городке. Тут же, прямо на берегу, начинается торг. Серебро, золото, медь, железо, одежды и прочее, что награбила варварская рука, выгружается на землю и продается, а нас, захваченных в плен людей, не высаживают на берег, но продают на самом корабле. Спрос на женщин и юношей у жителей Артикомида — небольшой, вернее его совсем нет; все стремятся купить девушек. Варвары за них высокую цену назначают, но многие жители Артикомида девушек покупают, правда после испытания метким луком и источником Артемиды, которым Артикомид гордится, как кельты рекой Рейном.[4] Есть ведь в Артикомиде знаменитое святилище Артемиды, в середине которого стоит золотой кумир богини; руками богиня натягивает лук, а у ее ног ключом бьют источники, текущие, подобно шумной многоводной реке. Взглянув, ты бы сказал, что слышишь, как бурлит вода. Все это — лук и источник — обнаруживают девственность или же — ее утрату. Ведь когда кто сомневается в девственности девушки и добивается доказательства, девушку, увенчанную лавровым венком, бросают в источник. Если брошенная в воду не лишилась девственности и не потеряла чистоты, Артемида не натягивает лука, воды источника спокойны и бережно несут деву, а лавровый венок украшает ее голову. Если же дыхание Афродиты погасило в ней светильник целомудренности и Эрот тайно похитил ее девственность, Артемида, девственная богиня, натягивает лук, угрожая потерявшей девственность, обманувшей ее и, кажется, целится прямо в голову. Девушка боится стрелы, прячет голову в воде, а вода начинает бурлить и срывает венок. И вот все захваченные в плен девушки увенчаны лавром и брошены в источник; те, кто не скрыл головы в воде и не потерял своего венка, были проданы за большие деньги, а утративших девственность вернули на триеру и присоединили к женщинам: они променяли золото на медь, лавровый венок девственниц на ложе варвара.

Такие события случились в Артикомиде, и так с корабля выгрузили добычу. Снова триеру окрыляют привычным способом, снова варвары отплывают прочь и нас, из свободных превратившихся в их рабов, увозя с собой.

На третий день триера входит в какую-то другую гавань; когда мы вытащили ее на песок и прочно укрепили канатами, варвары толпой высыпали на берег, захватив с собой женщин, разбили шатер у самой воды и устроили роскошное пиршество. После обильных яств, вина, каких-то варварских забав и прочего варварского непотребства с женщинами они вместе со своими наложницами повалились спать, душу всецело утопив в наслаждении, любовью себя всецело опьянив. Вот, что было с ними.

Мы же (ведь варвары лежали пьяными), отважившись выйти из трюма, мучались сомнениями, оставить ли нам триеру и сойти на берег, бежать ли из плена на самой этой триере или, как подобает эллинам, вооружившись оружием, которое в изобилии было на корабле, напасть на варваров и победить либо пасть в битве.

Пока нас мучили сомнения, тяжело вооруженное войско с суши нападает на варваров, всецело охваченных сном, всецело обезумевших от вина и любви. Оно захватило в плен всех варваров, а нам пришлось сменить рабство у варваров на рабство у эллинов; из рабов мы вновь ста-

новимся рабами, сорабами своих недавних господ и, вместе с господами лишившись свободы, становимся рабами говорящих с нами на одном и том же языке эллинов.

Вот уже посреди площади, посреди Дафниполя,[5] города, посвященного Аполлону, предводитель и его войско в честь победы над нами поют эпиникии,[6] и город рукоплещет и громко ликует. Всех нас, их добычу, их пленников, жалко влекут к храму Аполлона, составляющему славу города Дафниполя. Тотчас все жители собрались у алтаря.

Я обнял ноги кумира и, обливаясь слезами, «Утишь, Аполлон, — сказал, — бурю, сострадая, развеяй благим ветром мои беды. Вестником твоего отца Зевса я пришел в Авликомид из Еврикомида, увенчав вот эту свою злосчастную голову ветвями вот этого твоего дерева, лавра.[7] Но Эрот, твой брат,[8] вместо лаврового надел на нее венок из роз.[9] Он похитил мою девственность, вернее преобразил ее любовью, вверив деву Исмину моим злосчастливым рукам; Посейдон вырвал ее девственной из вот этих моих злосчастливых рук и из самого сердца, ополчив на меня все ветры, все море и все волны. Утишь бурю и возврати мне Исмину или меня соедини с ней. Из свободного я стал рабом и троекратно из вестника рабом: в первый раз меня поработил Эрот, во второй раз — варвары, а в третий — эллины из этого твоего Дафниполя».

Так я говорил, пока меня вместе с остальными пленниками вели к лавровому дереву и треножнику. Здесь оракул и жребий снова накладывают на меня рабские оковы, и снова я раб и трижды раб. Мой господин, которому я достался по оракулу и жребию, уводит меня домой, а госпожа говорит:

Кто ты, откуда, из края какого и кто твой родитель.[10]

Я отвечаю: «Твой раб, госпожа. Стремясь узнать больше, ты стремишься к настоящей драме, к настоящей трагедии. Я — пример своеволия Тихи,[11] я — тень из подземного царства, игралище богов, трапеза Эриний».[12] Говоря это, я опустил глаза к земле и всю ее заливал слезами.

Госпожа в ответ: «Рассказывай обо всем, ничего не тая». Голос у меня пропал, язык отказался слушаться, и из глаз рекой потекли слезы.

Тогда господин (ведь и он был здесь) «Пора завтракать,— говорит,— возляжем; за столом к месту будут рассказы этого раба».

И вот приносят стол, мои господа занимают места на ложах, а я, как подобает рабу, стою рядом.

Госпожа снова обращается ко мне: «Вот теперь пора тебе год за годом нарисовать нам свою жизнь».

А я при одном воспоминании о своих бедах жалостно из глубины души вздохнул, горько заплакал: «Не воскрешайте, — говорю, — господа, мои злосчастья, чтобы трапеза ваша не омрачилась стоном, и я не подал вам полной чаши печали». Говоря так, я не убедил их, и, не будучи в силах убедить, —

Увы, увy рабом быть — доля горькая.  
Терпи недолжное, насилью уступай [13]

произнес: «Отечество мое — город Еврикомид, отец — Фемистий и мать Диантия. Богаты ли они и в числе ли первых людей в Еврикомиде, не мне говорить. В городе — пора Диасий, праздника, пышно у нас справляемого.

Лавром увенчанный, хитоном украшенный, в священной обуви, всеми знаками вестнического достоинства отмеченный, вестником Диасий я пришел в Авликомид. Но Эрот похищает мой веночек, приманив меня в силки Исминой, прекрасной девой, дочерью Сосфена, одного из первых людей в Авликомиде. И вот я вернулся в мой Еврикомид рабом Афродиты в сопровождении этой девушки и ее отца. Что же было потом? Сосфен, отец Исмины, за столом, во время пышного пиршества объявляет о браке Исмины с другим; счастливо спасшись от него бегством, мы злосчастно были пленены, попав из дыма в огонь, из дождя в море. Корабль — пособник нашего бегства; Посейдон преследует его противным ветром, желает жертвы; мы мечем жребий, жребий выпадает Исмине. Жалко вырвав ее из моих рук, девушку бросают в море; это избавляет моряков от бури, а меня ввергает в пучину стенаний и слез. Не в силах более терпеть, моряки покидают меня на каком-то берегу, и варвары, ныне такие же пленники, как я, берут меня в плен. Затем, снова пленником попав в твои руки, я становлюсь из раба рабом и трижды рабом из вестника».

Так я говорил и обливался слезами.

Моя госпожа в ответ: «Твоя жизнь подлинно драма, поистине трагедия. Зато тебе посчастливилось, что мы твои хозяйева».

«В том-то мое несчастье, что есть надо мной господа», — ответил я своей госпоже и прибавил:

Кто не привык вкушать всегда злосчастия,  
Тому, хоть сносит их, все больно от ярма.[14]

Господин говорит: «Пусть твоя отчизна знаменита, род славен и дома много богатств, теперь ты лишился всего. Ведь ты — раб и принадлежишь нам. Раз ты сменил стыдливость и девственность на бесстыдство и любовь, а веночек целомудренного лавра на любовный веночек из роз, себя за это и вини. Запасись разумом, полюби умеренность, чтобы скромность тебе не пришлось постигнуть на опыте, и рука господина не стала твоим наставником».

Таковы были слова моего господина.

Я молчал и уперся в землю глазами, полными слез. На этом завтрак кончился.

Я, Исминий, вестник Диасий, увенчанный лавром, прежде торжественно приплывший из Еврикомида, как царь, проехавший на колеснице по Авликомиду, пышно возлежавший за богатым столом Сосфена, теперь вместе с толпой своих товарищей по рабству занимаю место за столом рабов, несу рабскую службу, полностью раб, полностью в рабстве, полностью прикидываюсь рабом, полностью, о Зевс и прочие боги, расстался со своим вестническим достоинством и полностью со свободой. Такова была моя участь, и так я служил в доме своих господ. Но даже в этих страшных бедах я не забыл моей возлюбленной, девы Исмины, не забыл, клянусь неумолимым Эротом, источником всех моих злосчастий!

Наступило время Диасий. И хотя в Дафниполе Диасий не соблюдают и этот праздник не празднуют, я вспомнил о них и поднял плач. Но судьба и тут позавидовала мне.[15] Я стенал, но старался скрыть стенания, плакал, но таил глаза от господ: ведь у меня были душа, голос, слова и слезы. Вестник, а ныне жалкий раб, я представлял в своем воображении Еврикомид, Авликомид, свое вестничество, сад Сосфена, водоем в саду, птиц его украшающих, позлащенного орла, смешивающую вино Исмину, то, как

она со мной любовно заигрывала, играла, принося к моим стопам, играла кубками, представлял прочие (увы, любовные радости рассеялись, как сон), рожденные любовью игры. В конце концов «Исмина, моя любимая», — я чуть слышно прошептал.

Тут неожиданно появляется госпожа и говорит мне: «Зачем ты так обливаешься слезами? Вот она перед тобой: я, твоя владычица и рабыня любви, буду тебе Исминой». Ничего не ответив, я тотчас убежал, так как дорожил любовью одной лишь Исмины и одну ее отражал в себе, как в зеркале.

Как госпожа пыталась заигрывать со мной, как упорно осаждала, как на меня господину клеветала, как грозила мне рукой, словами, кивками, это я боюсь передать, чтобы Эрот невзначай не развратил моей души или самого моего языка; его я буду блюсти для девы Исмины — пусть он будет исполнен любовных прелестей и меда Афродиты, которым мы досыта насладились лишь на словах.

Настает праздник, пышно справляемый в городе Дафниполе; прославляется бегство Дафны и природа дерева, соименного деве,[16] но по преимуществу это праздник и торжество Аполлона. Ведь Дафна — дева и притом дева прекрасная. Аполлон ее любит, а дева страшится объятий бога, отвергает его любовь и молит о помощи Гею.[17] Гея сострадает девушке, прячет беглянку, девственность сохраняет и взамен соименное деве дерево дарует богу, Аполлон венчает себя лавром и так избавляется от любви; подле дерева жертвенник и соименный дереву город. Жертвенник — Аполлона, а город — Дафниполь.

Так все было. Праздник — города Дафниполя, и вестники избираются по оракулу.

Аполлон вещает и делает своим вестником моего господина, блестящим вестником в Артикомид. Тот увенчивает голову лавровым венком, в пышном шествии проходит по площади, празднует свое торжество в театре. Вокруг вестника толпа, великолепные и почетные проводы, — все, что когда-то в насмешку даровало мне вестничество. Вспомнив об этом в блистательном театре в день блистательного торжества, полного прелести и наслаждения, я исполнился плача и стенаний, и память, словно молния, поражала мою душу частыми ударами.

Так вот, столь блистательно, столь пышно и торжественно вестник, он же и господин мой, был провожаем домой; лавровый венок его венчает, хитон блестящий украшает, священные сандалии на ногах топчут прах. После этого блистательного шествия, в каком и я некогда (увы, вот какова моя судьба!) прошел через Еврикомид, вестник с моей госпожой ложатся за блистательный пиршественный стол; на его голове лавровый венок, и он вестник с головы до ног.

В середине пиршества госпожа говорит: «Вестник, твою голову Аполлон блистательно увенчал, послав тебя в Артикомид блистательным вестником блистательного своего праздника. Пусть Аполлон дарует тебе и счастливый путь! А этого нашего раба, которого добыли тебе меч и отважная рука, не бери с собой в Артикомид: ума у него, мне кажется, хватает, не глупы и его слова, но он постоянно насуплен, постоянно стонет и бьет себя в грудь. Я опасуюсь, как бы он не сделал тебе чего худого: ведь раб — враг своим хозяевам». Господин в ответ: «Но если вспомнить трагедию,

Рабам усердным и несчастья их господ  
Бедой бывают».[18]

Хозяйка говорит: «Но в трагедии сказано "рабам усердным".  
А он хвастливым рассказом о своем вестничестве себя величает, род и от-  
чизну свою прославляет и много великолепия себе прибавляет».

Тут господин обращается ко мне: «Если, как говоришь, ты был ве-  
стником, то, подобно мне, был увенчан лавром».

Я в ответ: «Вестник и господин, не гневайся на мой язык за опрометчи-  
вые и нескромные слова. Поистине, и ноги мои были украшены, и я был  
одет в хитон до пят, еще более блистательный, чем твой, потому что был  
вестником Зевса, отца и людей, и бессмертных![19] Не сердись на меня,  
господин».

Он говорит моей госпоже: «Может быть, будучи свободным, он дей-  
ствительно был когда-нибудь вестником, но рука варвара обратила его  
в рабство:

Дела людей — Случайность неразумная.[20]

Если он отправится со мной в Артикомид, это, быть может, окажется по-  
лезным». С такими словами он встал из-за стола, чтобы приступить  
к своим обязанностям вестника. Снова весь город поднялся, снова бли-  
стательные проводы, снова всеобщее торжество, снова песни и все, чем по-  
добает воздавать почет вестникам.

## КНИГА ДЕВЯТАЯ

Вот как, стало быть, вот как блистательно нас провожали в Артикомид.  
Вестник пришел в Артикомид, и снова блистательная встреча, снова толпа,  
ликование, украшенные улицы, убранные площади, увенчанные девы. Ар-  
тикомид процветает особенно потому, что чтит девственность и украшен  
алтарем Артемиды-девственницы.[1] Гром кимвалов чарует слух, красота  
портиков услаждает глаза, аромат роз и дым всяческих благовоний радуют  
обоняние, множество блистательных риторов произносят приветственные  
речи. Мой же хозяин, окруженный всей этой блистательной толпой, окру-  
женный всяческим почетом и превознесенный, как сам Аполлон, шагает  
широко,[2] точно вознесен в заоблачные выси, подняв брови до самого неба.[3]

А меня воспоминание заставило спуститься в самую бездну Аида и на-  
полнило глаза слезами, струящимися в самую глубину души. Первые люди  
Артикомида стараются залучить вестника, каждый увлекает за собой и  
влечет к себе: небывалое соперничество и соревнование в гостеприимстве.  
Глядя на это, можно было бы сказать:

Смертным благо — споры такие.[4]

Сострат оказывается победителем, увозит вестника на своей колеснице,  
отвозит домой и принимает его с великой щедростью, подобно тому как  
Сосфен (не было только Исмины) пышно принял меня, Исминия.  
Все это прожгло самую мою душу, и я жаждал выпить чашу забвения.  
Вестник снимает свое одеяние, ставится богато накрытый стол, и дева  
Родопа, дочь Сострата, разливает вино; хотя она и хороша, как всякая  
дева, но в сравнении с моей Исминой все равно, что обезьяна рядом с Аф-  
родитой. На столе разнообразные яства, какими и Сосфен угощал вест-  
ников.



Тут у меня вдруг дергаться стал правый глаз;[5] это для меня было хорошей приметой и благим предвестием. Также ли вкусно вино из Артикомида, как авликомидское, свидетели боги, не знаю, — у Сострата ведь в отличие от Сосфена не было такого виночерпия, как Исмина, и этим он уступал Сосфену, а мое вестничество было тем почетнее вестничества моего господина, чем менее оказалось счастливым.

После яств и щедрых роскошеств пира Родопа смешивает праздничный кратер.[6] Вестник и мой, по воле случая, хозяин, блистательно возлежа за столь богатым столом, пил, как мне кажется, с удовольствием, а я, некогда вестник, возлежавший за блистательной трапезой, с щедростью принятый Сосфеном, кому подавала вино Исмина, только взглянуть на которую счастье, несущую рабскую службу и всецело раб. Не окончись пиршество, я бы, пожалуй, не выдержал. Но вестник поднялся из-за стола, удалился в свой покой и лег на такое же блистательное и мягкое ложе, какое некогда предназначал для меня Сосфен.

Дочь Сострата, как моя Исмина, пришла омыть вестнику ноги; за ней следовали три рабыни, помогая девушке в ее службе. Вот Родопа приступает к омовению, а я, вспомнив о том, как это было со мной, какие знаки приязни посылали уста и руки моей Исмины, из самых глубин своей души исторг громкий и печальный вздох, и глаза мои наполнились слезами.

Тут служанка, державшая пелену для вытирания ног, негромко застонала, точно подражая вторящему чужим голосам эху, как едва слышно застонала Исмина, когда моя нога коснулась ее ноги за столом у Сосфена. Я пристально посмотрел на девушку, и, клянусь Исминой, мне почудилось, что я вижу Исмину. Она еще пристальнее посмотрела на меня.

Когда дочь Сострата окончила омовение и, сопровождаемая служанками, ушла, вместе с ней ушла и та, кого я принял за Исмину. Всю ночь мной владели раздумья: «впрямь ли это была Исмина? — говорил я себе. Но ведь исторгнутая из этих моих рук, она была брошена в море на моих собственных злосчастных глазах рукой злодея кормчего. Может быть, Зевс яли Эрот спасли ее, и девушка теперь в Авликомиде? Неужели могли они даровать ей жизнь для злосчастия и рабства?». В мыслях я всю ее представлял себе, всю ночь провел в раздумьях и встал с постели — сон не коснулся даже моих ресниц.

Однако наступивший день прибавил к моим ночным терзаниям еще горшие: беды у меня сменяли одна другую. Снова я, Исминий, страдаю от рабской доли, снова несущую рабскую службу, всецело раб и трижды раб: по воле Эроса — раб Исмины, раб дум, которые шли мне на ум оттого, что я увидел, и по воле случая раб вестника. Снова пышная трапеза, снова вестник возлежит рядом с Состратом, снова Родопа смешивает вино, снова память идет походом на мою душу, всю ее обкладывает осадой, ведет в Авликомид, увлекает к Исмине и рисует дни моего вестничества.

А за столом рабыня опять помогает своей госпоже, опять я гляжу на рабыню и опять мне кажется, что передо мной Исмина; рабыня еще пристальнее глядит на меня, и ее глаза наполняются слезами. Я, покинув свое место за столом, сел под раскидистый лавр (Сострат ведь устроил пиршество недалеко от сада), заплакал, глубоко вздохнул и «Смилуйся, Зевс, надо мной, — жалостно молвил, — положи предел моим долгим странствиям, утишь обрушивающуюся на меня страшную бурю. Вот снова демоны [7] смущают меня — лепят перед моим взором Исмину, любовно укрывают, ставят передо мной, терзая равно мое зрение и суждение».

Так я сказал; тут ко мне подходит какая-то рабыня и говорит: «Это письмо тебе от девы Исмины, твоей возлюбленной, ныне такой же, как я, рабыни», и, вручив, бегом бежит прочь. Взяв письмо, я, дрожа, раскрыл его.

Написано было следующее: «Дева Исмина своему возлюбленному Исминию шлет привет. Исминий, сын Фемистия, знай, что твою Исмину дельфин спас из волн морских, а источник и лук Артемиды, девственной богини, сохранили для тебя девой. Не предавай забвению ни любовных радостей, испытанных в Авликомиде, моем отчем городе, ни тех, что вкусил в Еврикомиде, твоём городе, ни того, что из-за тебя я пожертвовала родиной, родителями, всеми накопленными в доме богатствами, не утратила моря и волн, из-за тебя вкусила горькой смерти, из-за тебя наконец, стала пленницей и ныне, как видишь, рабыней, но, вопреки всему, сохранила свою девственность. Теперь мне, такой же рабыне, как ты раб, предстоит разделить с тобой плавание в Дафниполь. Будь здоров. Блюда свои обещания и целомудренно оставайся и ты девственным».

Таково было содержание письма; веря, что письмо написано Исминой, я не допускал возможности таких происшествий, а желая верить в действительность происшествий, не допускал, что оно написано Исминой. Записка старалась уверить меня, что рабыня — Исмина и что это ее письмо; она ведь рисовала все, что с нами произошло. Однако невероятность случившегося с Исминой чуда не позволяла мне верить написанному. И вот дважды и трижды прочитав письмо и все его покрыв поцелуями, я покинул свое место под лавровым деревом и, вернувшись к столу, стал неотрывно смотреть на рабыню, выдававшую себя за Исмину, и с головы до пят оглядывать ее. Она же глядела на меня полными слез глазами. Так пиршество закончилось. Вестник, мой господин, в сопровождении нас, своих рабов, направился к себе. Исмина как рабыня Родопы последовала за ней — так мы расстались. И снова бесконечные раздумья стали раздирать мою душу, снова, раскрыв письмо, я, наподобие лаконского пса,[8] доискиваюсь его смысла и снова бегу по следу всего послания. Вестник и мой господин лег на богатое и мягко постланное ложе, вестник во всем, вплоть до того, как его устраивают на ночь, и отдал дань сну; я вместе со своими товарищами по рабству, как полагается рабам, растянулся на земле. Раздумья не давали мне уснуть, и ночь превратилась для меня в день из-за бессонного бодрствования.

На утро вестник с головы до пят облекся в свое одеяние и вестником с головы до пят отправился в святилище Артемиды. Я остался дома и, сев у ворот, раскрыл письмо, впился в него глазами и облил слезами.

Дочь Сострата Родопа в это время прогуливалась по саду (сад ведь был перед воротами, у которых я расположился) и, заметив, что я горько плачу, словно из сострадания «Что с тобой случилось, дитя?» — говорит.

«Только то, госпожа,— ответил я,— что из свободного я стал рабом; думая о своей участи, я неутешно горюю».

Тут она стала спрашивать о моем роде и отечестве и о том, как я стал из свободного рабом.

Я сказал: «Слезы, госпожа, опережают мои слова, захлестывают мой язык, наводняют душу и отнимают голос. Если ты хочешь видеть бедственную участь, вот я перед тобой, се подлинное воплощение; весь окутанный несчастьем, весь искаженный своей страшной судьбой, я стал памятником злосчастия».

А Родопе хотелось больше узнать обо мне, и она словно умоляла меня рассказывать.

Я продолжал: «Еврикомид — мое отечество, отец Фемистий, мать Диантия, люди во всем процветающие, кроме своего сына, которого Эрот, Тиха [9] и Посейдон сделали из счастливого несчастным, рабом из свободного, трижды рабом из вестника. Было время Диасий, и я отправляюсь вестником, и не в какой-нибудь город, а в Авликомид. Не стоит рассказывать, как божество насмеялось надо мной, уготовив мне блистательные проводы и необыкновенные почести. Вестником я прихожу в Авликомид, Сосфен, первый человек в городе, оказывает мне гостеприимство. У него была дочь дева, питомица Харит, приворотный пояс Афродиты, [10] воплощенная любовная приманка, крепкая ловушка Эрота. С этою-то вот, с этой дочерью Сосфена я влюбленно сблизился, но мы не осквернили девственности. Отец объявляет о браке дочери с другим; не в силах даже слышать об этом, мы бегством спасаемся от брака, и брак получаем в удел. Корабль помогает бегству, но Посейдон объят бурей, и рука кормчего вырывает прекрасную деву из этих вот злосчастных рук».

После этих слов у меня перехватило дыхание, язык мне не повиновался, и я жалко рухнул на землю. Служанки Родопы окружили меня, подняли и, принеся в покои моего господина, положили на постель вестника, а сама Родоба, сев подле, держала за руки, утирала мне испарину, плакала, стенила над моим злосчастьем и, стараясь привести в чувство, мазала мне ноздри благовониями и мокрой рукой прикасалась к моей груди, чтобы легче было сердцу.

Наконец, Родоба отослала всех рабынь, кроме служанки Исмины, привлеки меня к себе, поцеловала, целуя, заплакала, глубоко вздохнула и «о, Тиха, — сказав, — все в жизни преобразующая и природные свойства изменяющая! О, сын Зевса, владыка Эрот, властвующий над людскими душами, отнимающий свободу и вместо этого обрекающий рабству», спросила, как мое имя.

Я в ответ: «О, госпожа, и его отняло у меня божество, не пощадило даже и имени, но как из свободного сделало меня рабом, вместо сладости свободы познакомило с горечью рабства и сменило свет тьмой, так вместо эллинского имени нарекло варварским, назвав вместо Исминии Артаком. Теперь я всецело раб и именем, и судьбой».

Так я сказал и узнаю вдруг в этой прислужнице Исмину — она вся была жалобой, вся — только слезами.

Родоба спрашивает: «Что, служанка, с тобой?».

А Исмина: «Этот юноша, — говорит, — мой родной брат, госпожа» и, обняв меня, стала целовать и всем телом прильнула ко мне.

Я заключил ее в объятия и тоже стал целовать, «Исмина, — говоря, — сестра моя», а она: «Брат мой родной», и опять целует меня. Насилу мы разомкнули объятия, уверовав в выдумку Исмины.

Тут Родоба обвила меня руками и поцеловала, говоря: «Я люблю тебя из-за твоей привязанности к Исмине и целую за братские чувства к ней».

Какая-то служанка вошла в покой и говорит: «Твой отец, госпожа, Сострат, и вестник, господин над этим вот человеком, возвращаются из храма».

Родопа спешит в сад, моя мнимая сестра и ее рабыня Исмина, как следует рабыне, сопутствует ей, а я встаю с постели и ложусь, как подобает, на голую землю.

Вошел господин, я встал; он вел себя как господин, я как раб. Снова богатая трапеза, снова вестник, мой господин, за столом, снова я, раб, услуживаю своему господину и всецело слуга вестника. Снова Родопа смешивает вино, снова я сажусь под лавровое дерево. Радуюсь, что гляжу на Исмину как на Исмину, но печалюсь сердцем; ум мой в осаде, и всевозможные мысли тревожат меня.

Тут дочь Сосфена, по прихоти случая рабыня Родопы, по воле любви моя владычица, а теперь, благодаря счастливой выдумке, моя сестра, Исмина, свет моих глаз, та, кого моя любовь сделала рабыней в Артикомиде, приближается к лавру, садится рядом со мной, открыто целует, целуя, смеется, смеясь, говорит: «Я как брата целую тебя и как возлюбленного обнимаю, но знай, это не мой поцелуй: не твоя возлюбленная целует своего любимого, не сестра брата, а рабыня возлюбленного своей госпожи. Родопа, моя госпожа, любит тебя; я только посредница, и поцелуй послан ею. Не измеряй любви благополучием, чтобы, стремясь к свободе, не оказаться рабом страсти свободной Родопы и не поработить души, стремясь избежать телесного рабства. Не пренебреги любовью твоей Исмины! Ведь если прелесть моего лица увяла, как локридская роза,[11] красота моей девственности — неувядаема; если тело мое в рабстве, свобода души нетронута; о том же, что из-за тебя я теперь рабыня, раньше была пленницей, до того же, как попала в руки варваров, меня ввергли в море, я умолчу!». Так со слезами на глазах печально говорила Исмина.

Я начал: «Исмина», и поцеловал девушку и, поцеловав, зарыдал и, рыдая, «Исмина, — снова сказал, — из-за тебя я стал рабом и счастлив разделять с тобой рабство — ведь и свободу мы любовно делили друг с другом. Мне слаще рабом умереть с Исминой, чем свободным вкушать бессмертие с Родопой. Кто же спас тебя из пучины и моря? Кто привел сюда в Артикомид?».

Она: «Теперь не время об этом рассказывать. Я — Исмина, и я жива, хотя была из-за тебя пленницей, а теперь, как видишь, рабыня. Моя госпожа, хотя она и госпожа, мучится страстью к тебе, стала твоей рабыней и доверяет мне свои любовные страдания, так как любит Исминия, брата рабыни Исмины. Будучи свободной, она в рабстве у Эротов».

Так она сказала и снова стала целовать меня и снова: «Это не я тебя целую, — говорит, — а только передаю тебе поцелуй моей госпожи, Родопы, которой, как полагается рабыне, прислуживаю».

А я в ответ: «Я верю, что ты — Исмина. Я целую тебя в губы, рабыня ли ты, сестра ли мне или возлюбленная, и целую твои поцелуи не потому, что их передает Родопа, а потому, что это поцелуи Исмины, которую Зевс назначил мне супругой, чью руку владыка Эрот вложил в эту мою руку, кого похитил Посейдон, кого ныне владыка Эрот снова возвращает мне. Прощай Родопа с ее любовью, прощай всякая иная дева, которую Эроты на забаву себе могут влюбить в твоего Исминия».

На это Исмина: «Пусть ты не любишь Родопы, пусть отвергаешь ее любовь, пусть верен клятвам — для меня делай вид, что влюблен, и для меня прикидывайся любящим: может быть, такое притворство окажется не напрасным и принесет нам пользу. В худшем случае как рабыня я, не таясь,

буду видаться с тобой, как родная сестра обниматься и как посредница передавать тебе поцелуи».

Я ответил: «И боги тебе пусть свидетели будут,[12] что я не обману твоей любви и не нарушу клятв, которые дал. Я готов помогать тебе разыгрывать эту игру, представлюсь твоим братом и, скрыв, что я возлюбленный твой, прикинусь возлюбленным той. Ты же приноси мне поцелуи или что-нибудь другое, богаче наделенное любовной силой, чем они. На твоих губах и повсюду на твоём теле, где можно собрать любовный урожай, я буду целовать Родопу и оборву весь виноградник, но сохраню девственность моей Исмины и дальше поцелуев не пойду».

Обняв Исмину и всю ее покрывая поцелуями, «Не тебе, — я продолжаю, — предназначаются эти поцелуи, твоей госпоже Родопе я их посылаю на твоих губах». А она, словно и вправду собираясь передать мои поцелуи Родопе, бросила меня, побежала к госпоже и стала что-то шептать ей. Я тоже поднялся на ноги, воздав прежде хвалу лавру, под которым сидел, называя его воистину золотым, деревом Аполлона, порождением земли, напоминанием об Афродите и утешителем Эроса.[13]

Итак, Родопа сделала Исмину как бы тропой, ведущей к ее страсти, и ей мнилось, что с помощью служанки она добьется любви; но моей единственной любовью была Исмина, и всю эту любовь я заключил в глубине своего сердца.

Так во время пиршества вкушал я любовь и так пиршество кончилось. Вестник, мой господин, вернувшись к себе, лег и, как это бывает после обильной трапезы, точас заснул.

Я вышел в сад. Снова Исмина служит любви своей госпожи и снова идет к ее возлюбленному, снова обнимает брата, снова целует, снова ей услуживает, снова передает чужие поцелуи. Я в ответ целую Исмину, обнимаю, представляюсь ее братом, прикидываюсь влюбленным в Родопу, в свою очередь шлю ей поцелуи, принимая Исмину как посредницу-рабыню, и открыто наслаждаюсь тайной любовью.

Исмина говорит: «Это письмо тебе от моей госпожи Родопы» — и протягивает мне. Я в ответ: «Исмина, по воле Эроса, ты — моя единственная владычица, страсти к тебе одной я предан, тобой записан в рабы и служу Эроту, эта запись для меня горька и вместе исполнена сладости и несмытаема во веки. Ты нитр,[14] который съел мой вестнический наряд, ты тать, дерзко похитивший мою чистоту, ты — гелеполида,[15] отнявшая у меня отчизну и отца с матерью. И вот я пленник и теперь, как видишь, — раб. Претерпев все это, я счастлив, оттого что Эрот чудесным образом вернул тебя, мою Исмину, из Аида. Любовь же к Родопе для меня — только обман и вымысел: тебе лишь, Исмина, одной и твоей красоте безраздельно отдал я мои глаза».

Она отвечает: «Хотя твои поцелуи полны страсти, хотя уста, подобно соту, источают мне мед, но любовь я чту не только на словах: мне претит ее свершение, если оно сопряжено с расплатой. Из вестника и свободного человека ты стал рабом и нищим; что я стала рабыней, ты это видишь; из свободной и счастливой ли, должно тебе сказать. Родопа, моя госпожа, может нас спасти и вернуть нам свободу».

Я отвечаю Исмине: «Хотя женщина по природе более пылка, хотя по природе менее постоянна, однако, как говорится в трагедии,

Когда нанесена обида ложу их,  
То кровожаднее не сыщешь нрав другой».[16]

Едва приметная улыбка появилась на лице Исмины.

«Блаженны, — сказала она, — и мужское постоянство и большая холодность в жару любви.

К чему скорбеть, коль словом умертвят меня —  
В деяньях я спасусь, стяжаю славу так».[17]

## КНИГА ДЕСЯТАЯ

Так-то вот сказала Исмина — страстно, обвила меня руками и поцеловала. «Исминий, — молвила она, — спаси свою Исмину и, что еще важнее, себя, моего Исминия», и снова стала целовать и, целуя, молить: «Послушайся меня, сыграй влюбленного, чтобы я не считала наигранным твое нежелание сыграть». Я подчиняюсь ее уговорам и вскрываю письмо. Звучало оно так:

«Дева Родопа, дочь Сострата, шлет привет возлюбленному своему Исминию.

Исминий, я счастлива отчизной, родом и всем прочим, что составляет людское счастье, об этом ты по всему можешь заключить — сами обстоятельства тебе свидетельствуют. То, что всецело, включая даже глаза, я сберегла сокровище своей невинности нерушимым, непререкаемо доказали источник и лук Артемиды. Но ты, хоть и раб (не сердись на меня за это слово), всю душу мою затопил источниками Афродиты и ранил любовными стрелами. Хотя я дева, хотя счастлива, хотя славна — все готова я отдать за твою любовь и эту мою отчизну, знаменитый город Артикомид, за твой Еврикомид, где никогда не была. Мое богатство и рука, которая пишет тебе это письмо, даруют тебе свободу. Исмина, моя служанка и твоя сестра, отныне тоже свободна. Да будешь ты счастлив, сменив рабство на брак с Родопой».

Прочитав это письмо, я говорю Исмине: «Скажи Родопе, что тебе угодно, но как будто говоришь с моего голоса. Если она захочет получить поцелуй, столько раз поцелуй ее, сколько я своими губами целовал твои уста. Если же она не удовлетворится одними поцелуями и не успокоится вкушением любви только губами, а, подобно женской финиковой пальме, жаждет побега от мужской пальмы, который проник бы в самое сердце, я сделаю это с тобой, чтобы ты передала ей».

Так сказал я Исмине и, снова заключив ее в объятия, поцеловал. Она убежала к Родопе, а я побежал в покои моего господина и, растянувшись, как полагается рабу, на земле, заснул, покорившись ночи. Снова я беспрестанно вижу во сне Исмину и предаюсь с ней любовной игре. Как голодному чудится хлеб, а жаждущему мерещится вода, так охваченная любовью душа все подчиняет своей страсти, и мысли наяву, и сновидения. Чуть пришла ночь, вслед за ночью сон, а с ним грезы. Затем снова пришел свет, и улыбнулась сладость дня. Я встал, подошел к господину и стал прислуживать ему.

Тут появляется Сострат и говорит: «Вестник, гляди, весь город Артикомид собрался у ворот, чтобы сопровождать тебя в Дафниполь. Облечись же в вестнический наряд, с головы до ног будь вестником».

Вестник увенчивает голову венком, надевает хитон и сандалии и, с головы до ног украшенный вестническим одеянием, выходит на улицу. Снова весь город поднялся, снова толпа пляшет, устраивая вестнику торжественные проводы, как прежде устроила ему пышную встречу. Чтобы не останавливаться на подробностях, скажу, что, взойдя на корабль, мы отплыли из Артикомида и достигли Дафниполя.

И вот вестник и мой господин, окруженный сопровождавшими его сюда гражданами Артикомида, как полагается вестникам, идет к алтарю Дафния,[1] а я со слугами, прибывшими с ним, остаюсь в покоях господина.

Снова госпожа, словно в исступлении, безумствует от напасти, страсти ко мне, рабу. Бесстыдно обняв меня, она пытается поцеловать. Я от стыда закрыл лицо; мне было совестно, боги свидетели, и своевольной госпожи, и рабыни Исмины, и самого Целомудрия. Но госпожа тащит меня, вцепившись в мой хитон, а я, раб, не давал себя тащить и изо всех сил вырывался; началась неслыханная борьба между госпожой и рабом. Ведь я, раб, стремился соблюсти целомудрие свободной женщины, а моя госпожа, став рабыней Эротов, жаждала предать свою свободу.

Вдруг кто-то, вернувшись из храма, крикнул: «Госпожа, господин!». Сейчас же она бросилась к дверям, а я, точно из варварского плена, освободился от ее рук. К месту я вспомнил стихи трагедии и произнес:

О моря дочь Киприда, всех владычица,  
Как выдержать им взгляд соложников своих? [2]

Приходит вестник. За ним следует Сострат и дочь Сострата, держа за руку Исмину. Начинается богатый пир. Блистательно и пышно возлежит вестник, сняв свое парадное одеяние, а госпожа бесстыдно целует вестника и занимает место рядом с ним, а Сострат возлежит с Родопой. Пир был великолепен. Мне, Исминию, велят подавать вино моим господам и Сострату, отцу Родопы; Исмина же прислуживает Родопе, чтобы даже кубок, поданный мужской рукой, не осквернил ее девственности. Так мы с Исминой любовно наслаждались близостью друг друга и оба разделяли одинаковые чувства, подобно тому как разделяли рабство и одинаковый приказ своих господ.

Порабощенная Эротами, моя госпожа затевает шутивную игру кубком, вернее Эроты затевают свою шутивную игру с ней, избрав для этого меня и кубки. То она сжимает мне палец, то вместе с кубком притягивает к себе всю мою руку, то шутит как-нибудь иначе, вернее Эроты шутят с нею. А я, как огня, сторонился всего этого и играл с Исминой, тоже разливавшей вино, предпочитая забавляться с рабыней, а не с госпожой. Родоба одобряла эти игры и побуждала к ним свою рабыню: ей казалось, будто так она сама становится участницей любовной игры. Глядя на это, я думал, что скорее Родоба — рабыня Исмины, потому что она служила ее любви. Так в шутках, в обмене любовными взглядами и вкушении изысканных наслаждений прошло пиршество, и кончились наши обязанности виночерпиев.

Исмина последовала за Родопой и ушла вместе с ней в покой, который мой господин отвел для Сострата, украсив его роскошно и богато; я же в толпе других рабов отправился в предназначенное для рабов помещение, вместе с рабами возлег, поел и в конце концов заснул.

Около третьей стражи ночи [3] Сострат с Родопой и моими господами отправляются к алтарю Аполлона, а Исмина и я сопровождаем, как при-

нято, своих господ и вместе с ними идем к алтарю, треножнику и лавру.

Там был шум, крики, смятение, слышался плач и причитания. Феми- стий, мой отец, и Сосфен, отец Исмины, затягивали плач, а обе наши ма- тери сдвигали, как говорят, камень с черты [4] — чего только они не выкри- кивали, чего не делали, что будит сострадание и склоняет к сочувствию. Жалкие видом, еще более жалостно вопиющие, более горестные, чем аль- циона,[5] более скорбные, чем соловей,[6] уподобившиеся горькой Ниобе,[7] они соперничали друг с другом в печали, обе оказывались победительницами, обе побежденными, обе разрывали на себе одежду, обе царапали щеки, обе били себя в грудь, обе в знак боли терзали волосы, обе посыпали себя пеплом.

Ведь моя мать «Аполлон, Аполлон, — страстно взывала, словно обезу- мела от криков и потеряла рассудок от слез. — Погибла я, Феб-Аполлон;[8] срезан локон всего моего рода.

Луг мой — цветущий молодостью сын, а я садовник, но, увы, он со всей своей красотой, со весами цветами жалостно у меня отнят.

Источник мой, текущий медом — мой красивый мальчик, которого я ли- шилась. Я высохла и стала пучком полыни; беда всю меня напитала го- речью.

Надежная гавань мне — сын Исминий и, подобно кораблю, я в гавани находила защиту от ветров и не боялась волн. Нет у меня теперь гавани, и, подобно кораблю, меня в открытом море затопляют волны.

Солнцем был мне мой сын, ныне же он, как солнце, закатился, и мрак окутывает его мать. Я променяла некогда светлый для меня, сердцу лю- безный Еврикомид на Киммерию.[9]

Светлая звезда моя — сын, но она потухла, и темная ночь скрывает мать. Светом мне был мой сын, но свет погас, и теперь я хожу во мраке.

Аполлон, твой отец Зевс, увенчав его лавром, посылает блистательным вестником в губительный Авликомид. Тогда блаженство подымало мать до самых небес, ныне печаль низводит ее к самым вратам Аида. Вест- ник — теперь беглец, свободный — раб, девственник — пленник Эрота — и в довершение всего я, бездетная, оплакиваю сына, а еще горше оплаки- ваю мать.

Но сын, вестник, господин, как мне оплакивать тебя? Как увенчать вен- ком из слез? Как умершего? Но Зевс, быть может, сберег твоей, матери дитя, быть может, ты жив, но пленен и несешь рабскую службу у каких- нибудь варваров, ты филэллин,[10] вестник, господин над многими рабами!

О треножник, о лавр, а прежде всего вещий Аполлон, не отринь эти мои возлияния и мои слезы, открой мне правду о судьбе сына, и да будет твое вещание не зловещим, а благим. Длиннокудрый Аполлон, сжался над моей жалкой головой — на ней уже нет кудрей; Дафний-Аполлон,[11] со- храни моего сына Исминия; он некогда блистательно увенчал свою голову твоим лавром, ныне покрывает эту вот мою горестную голову шлемом Аида».[12] Так на трагический лад жалостно причитала моя мать Диантия и, словно море волнами, покрывалась слезами и заливала ими все свя- тилище.

А Панфия, мать моей Исмины, тоскливо подхватила: «Увы, дитя мое Исмина, — неустанно повторяя, — ты погибла, вырвавшись из моих зло-



счастливых рук, и погубила свою мать. Как быстрая птичка, ты взмахнула крыльями и улетела из моих бедных рук. О, этот страшный отлет, погасивший мой светоч.

Ты — мой брачный покой и медью окованный терем дев, но, увы, дитя мое Исмина, вместе с брачным покоем и девичьим теремом я потеряла тебя, деву.

Ты, Исмина, мой высокий кипарис, который я посадила в глубине своей души, питала росой детства и всячески холила, но налетевший из Еврикомида вихрь с корнем вырвал его. Не вестник это был, а лютый зверь, который похитил вдруг мою Исмину из этих жалостных рук, разъяв объятий круг, унес мое сокровище, срезал колос, снял виноград, оборвал розовый куст.

Зверь тот, венком увенчанный, пришел в Авликомид и лишил мою голову украшения, сорвал с нее венки. Он прикинулся девственником и коварно увлек за собою мою деву, метнул в мое сердце стрелу, и теперь боль пронзает мою внутренность до самых глубин. Праздник еврикомидский трутень погубил мою Исмину, мою сладкую пчелу и наполнил мою душу пылью.

Огромный хищный орел, доченька, унес приносимую за тебя жертву прямо из моих рук и с огня алтаря — то был зловещий знак. Теперь прощания Зевса сбылись.

Ты — мой полный сладости источник, услаждающий горечь моей старости. Но какой-то землекоп из Еврикомида отводит твою воду в другое русло; душа моя жаждет тебя, и губы ищут тебя как струящего свежие струи источника.[13]

Дитя мое, Исмина, как мне оплакать тебя, как горестно вспомнить? Как умершую? Но в какой земле ты схоронена? Какая гробница скрывает тебя и весь источник прелестей поглощает? А если смерть сжалилась над твоей юностью, я хочу узнать, какой город принял тебя, мою Исмину, деву благодетельную.

Но тот мучитель, тот святотатец, насмеявшийся над вестничеством и постыдно предавший его, осквернил твоё детство. О, коварный обман, о, злосчастный мой талант, о, ограда, не оградившая, о, хитрость того зверя, обманом умыкающего, дерзостно похищающего?

О, вещающий источник, о, пророческий лавр и прежде всего Феб-Аполлон, прими эти горькие возлияния, которые приносит тебе злосчастная мать Панфия за свою злосчастную дочь Исмину».

Так обе матери горестно и слезно причитали.

Отцы еще более горестно били себя в грудь и в один голос стенали: «О, дети, — говорили они, — вы погибли, и мы погибли с вами. Эрот войной пошел на вас и осадил наши души. Эрот похитил у вас багряницу девственности, и мы, подобно пурпурнице, лишились своего покрова. Эрот оборвал ваш розовый куст и спалил наши души, словно терновник.[14] Любимым огнем Эрот сжег жар вашей юности, в пламени сгубил наши старческие сердца и обратил нас в уголья. Эрот, сын Зевса, идет войной на отца в самый праздник Зевса, в самый священный день, в пору Диасий. Он берет в плен вестника, отнимает у него целомудрие, осаждаёт весь девичий терем, беспощадно грабит наши души. Ветвями этого лавра, Апол-

лон, ветвями твоего дерева [15] мы увенчали головы своих детей, но Эрот сорвал венки и прахом увенчал головы отцов.

О, Аполлон, владыка Аполлон, пощади эти седины и помоги отцу осилить отцеубийцу сына. Прими возлияния, которые родители приносят тебе за своих детей, жалко гибнущих в пору самой весны, в пору самой молодости, в пору, когда луг еще в цветах».

Так вопияли наши матери и отцы, а окружающие их скорбели душой, плакали и горестно причитали.

Тут я, подойдя к Исмине, за руку притянул ее к себе и спросил: «Ви-дишь, Исмина?».

Она говорит: «Обнимем наших матерей?».

Я: «Потерпи, — ответил, — подождем оракула».

Тут вода источника начинает klokотать, треножник звенит, пророческий лавр раскачивается, словно его колеблет ветер. Жрецов охватывает вдохновение, Феб прорицает, предсказывает, вещает и предрекает будущее. Оракул сулит, что мы будем возвращены своим родителям, и требует соединить нас браком. Эти слова заставляют всю толпу трепетать от благоговения, обе матери плачут от радости, отцы пляшут перед алтарем, а мы, взявшись за руки, припадаем к подножью кумира Феба. Подбегают наши матери, привлекают нас к себе, сплетаются с нами, обнимаются, целуют, плачут, крепко держат. Отцы влекут нас в противоположную сторону, и наши сердца разрываются между ними. Они славословия начинают, благодарствия возглашают, спасение прославляют. Толпа ликует, славит Аполлона и увенчивает нас лавром.

Но вестник, мой прежний хозяин, и Сострат, отец Родопы, набрасываются на нас, срывают наши венки, выкрикивают дерзкие и святотатственные слова. Они оскорбляют жреца и объявляют, что освободили нас из рук разбойников, и по закону войны мы их рабы.

Жрец снова увенчивает нас и говорит им: «Хорош же у вас закон, если вы с эллинами как с рабами обращаетесь, а еще лучше ваше благочестие, если вы вестников поработаете. Аполлон пророчествует и назначает свободную долю свободным, кому эллинский закон и самое природа еще раньше даровали свободу. Вы же, поработая свободных, пророчество попираете, закон презираете».

«Мы, — говорят они, — не презираем законов: этих людей записали в рабы копьё и закон войны», и влекут нас, а мы не даем оторвать нас от подножия Феба.

Снова наши матери подняли плач, а отцы молили о помощи криками и слезами.

Сам жрец вмешивается в нашу схватку, но ничего не добившись, совлекает с головы венки, снимает хитон, сбрасывает сандалии и, взойдя на подмости, громким голосом говорит толпе: «Зачем в столь великом множестве вы напрасно стекаетесь к алтарю Дафния? Зачем молитесь стреловержца [16] о пророчестве? Ваши почтенные законодатели дадут вам прорицание. Довольно, Феб-Аполлон, прорицать, довольно предрекать, довольно венком венчать!».

Толпа, потрясенная этими словами, смело бросается на наших обидчиков. А они, подобно нам, обнимают ноги кумира, словно им грозит смерть, молят жреца, взывают к Аполлону, «Прости, — говоря, — Аполлон, наш умысел и наши слова».

Они объявляют нас свободными, стремясь освободить собственные свои души. Нас снова увенчивают, провозглашают свободными и возвращают родителям. А те, полные ликования и радости, приносят жертву как за избавление от смерти, поют приветственные песни и возглашают победные. Мы вместе с ними пляшем и затягиваем пеан,[17] прославляя счастливое обретение свободы.

Наступает время трапезы; нас зовет к себе жрец и богато угощает. Исмина в смущении не поднимает глаз с земли и не дотрагивается до кушаний даже...,[18] а у меня, словно у какого-нибудь победителя на олимпийских играх, от радости и счастья глаза и руки были обращены на трапезу, но хотя уста и горло я предал яствам, мысли мои всецело были заняты предстоящим браком.

После обильных, разнообразных и богатых кушаний жрец поднялся из-за стола, препоясал хитон и, обнажив руки, подал нам вино. «Этот кубок, — говорит он, — в честь Аполлона-Спасителя». И вот пьют наши отцы, а вслед за ними матери. «Благодарим тебя, — говорят, — Аполлон, за доброе попечение о наших детях».

После них жрец протягивает кубок нам, «Один общий, — говоря, — кубок дает вам Аполлон, чье вещание велит сопрячь вас браком, кто дарует вам свободу и соединяет ваши жизни».

С этими словами он возлег и «Жених, — опять говорит, — Исминий (ведь пророчество Аполлона даровало тебе это имя), я надеюсь, ты не откажешь и расскажешь все, что с вами было с самого начала до самого конца».[19]

Я ответил; «Ты зажигаешь полные чаши пламени и ворошишь муравейник трагических превратностей!».

На это он: «Не умолчи,— говорит,— заклинаю тебя Аполлоном, ни о чем, заклинаю самой свободой и брачным покоем, который блистательно уготовил тебе Аполлон».

Я говорю: «Прости, господин,[20] ведь душа моя всецело смущена стыдливостью, а ум всецело смятен. Я сохраню свой рассказ для завтрашнего дня».

Мои слова убеждают жреца, пиршество кончается, и мы идем к себе. Ведь для Фемистия, моего отца, для матери Диантии и для меня жрец отвел один покой и приготовил там три великолепные постели; мы легли и заснули. Сосфену же, Панфии и их дочери Исмине — другой покой. Так мы, разлученные друг с другом, провели ночь.

## КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

На следующий день мы снова предстали перед алтарем и, увенчав голову лавром, праздновали свое освобождение, пели эпиникии,[1] били в ладоши, принося в жертву Аполлону целые гекатомбы,[2] а народ, которого там было несметное множество, глядел на нас и показывал пальцами.

Наша, Исмины и Исминия, повесть была у всех на языке, и все из-за нас славили Аполлона.

Снова час трапезы, снова жрец устраивает богатый пир, снова принимает нас с великой щедростью. Когда пиршество окончилось, устроивший его жрец снова стал настойчиво расспрашивать о наших приключениях и безотлагательно требовать нашего рассказа. Я, хотя смущался, хотя робел, хотя дрожал, однако против воли приготовился начать, но голос у меня пропал, и язык отказался повиноваться. Но все-таки едва слышно я приступаю к рассказу.

«Отец мой — этот Фемистий, мать — Диантия, кого ты принимал с таким редким гостеприимством, город Еврикомид, где чтут алтарь Зевса-Гостеприимца и обряд Диасий, — моя родина. Вестник, по жребию назначенный вестником не куда-нибудь, а в Авликомид, я увенчиваюсь лавром. Прихожу я в назначенный мне город с приличествующей пышностью, потому что меня посылает Зевс, и я — вестник Диасий. Останавливаюсь я вот у этого Сосфена; он встречает меня с великим гостеприимством и оказывает мне блистательный прием; Сосфен вводит меня в сад; там для меня устраивается пиршество, а неподалеку от луга готовится ложе. Этой вот Исмине, своей дочери, Сосфен, ее отец, приказывает подавать вино; она подает, повинувшись отцу.

Трапеза кончается. Исмина оmyвает мне ноги, ноги девственника руками девственницы. Я ложусь на постель и как девственник тотчас же засыпаю. Встав наутро, иду в сад, любуясь его деревьями и другими красотоми, обращаю глаза на ограду, вижу сначала какие-то другие картины, а потом золотой трон, сидящего на нем нагого отрока, вооруженного, несущего факел, с окрыленными ногами и прекрасным лицом. Этого мальчика с покорностью рабов окружают цари, правители, тираны, звери, цари зверей, весь род пернатых, весь род морской и какие-то две удивительные женщины, ростом выше обычных женщин, судя по морщинам, дряхлые и трижды дряхлые. Одна—совсем белая: лицом, волосами, одеянием, руками, ногами, всем телом, другая — совсем черная: ликом, руками и с головы до ног и даже до самых ногтей. Взглянув на них, я был смущен и думал, что эта странная картина — искусный вымысел художника, но над головой отрока был ямбический стих, пояснявший, что сидящий на троне и, подобно царю, повелевающий всеми — это Эрот. Я же не только хулил картину, но и над самим Эротом с высокомерностью девственника насмехался.

А он ночью является мне во сне и корит за мои речи, овладевает, наконец, моей душой и делает одним из своих рабов вместо вестника, вместо девственника превратив во влюбленного; затем вверяет моей руке эту вот Исмину и летит прочь с моих век, увлекая за собой мой сон, мою чистоту, мое вестническое достоинство. И вот я, вестник — влюбленный, девственник—не девственный.[3] Развращая всю Исмину взорами, речами, кивками, я и ее превращаю в Эрота.

Так я прихожу из Авликомида в Еврикомид, безраздельно поработанный любовной страстью к Исмине. Но и сама она не спаслась от огня, крыл и лука Эрота, а также и от моих речей, внушавших ей то, чему обучают Эроты.

Я любил Исмину (был ли я любим, пусть скажет она), и мы связали себя обетом брака. Стремясь в полной мере его осуществить (пусть здесь прозвучит правда!), я не мог склонить к этому девушку. Этот вот Сосфен, ее отец, в середине трапезы и богатого пира, объявляет о браке дочери

с другим. Мы стараемся спастись от этого брака бегством, побегу помогает Кратисфен и корабль, взойдя на который мы покидаем мой родной Еврикомид. Ветер нам благоприятствует, и мы счастливо плывем вперед.

Вдруг Посейдон потрясает море, вздымает подобные горам волны, хочет затопить корабль; кормчий приказывает принести искупительную жертву. Мы мечем жребий, и жребий выпадает Исмине. Ее бросают в море, и тотчас бог дарует морю успокоение. Затем я убеждаюсь, что Исмина ожила, а как, не знаю, клянусь той страшной бурей, клянусь Посейдоном и своим горьким рабством, клянусь Аполлоном и сладостью свободы. Я весь корабль потрясал своими стенаниями и затоплял слезами. Кормчий и прочие корабельщики не в состоянии это долгие сносить, ведут корабль к берегу и покидают меня там. А я на прибрежный песок, словно на кенотафий [4] Исмины, приношу девушке возлияния своими слезами.

Внезапно появляется триера,[5] полная диких варваров, которые, подобно зверям, свирепо на меня кидаются, грубо тащат за волосы и бросают на триеру за весла. После своей варварской трапезы они пускаются в путь, нападают на какой-то городок, грабят его и нагружают корабль добычей. Юношей они сажают за весла, тех, кто старше юношеского возраста, предадут смерти и бросают в море (не счесть, сколько мужчин варварские руки захватили в городке), с женщинами обходятся бесстыдно, а девушек не бесчестят даже своими варварскими прикосновениями.

Так мы достигли Артикомида, и варвары на варварский лад заключили союз с жителями этого города, и так вся добыча, кроме пленников, была выгружена там. Взятых в плен девушек дорого оценили; сначала, однако, они были брошены в источник Артемиды; за нас же, юношей, и за женщин в Артикомиде не давали ничего. И вот снова мы на триере и, снявшись с якоря, оставляем гавань, входим в другую, где варвары причальными канатами прикрепляют триеру, выходят на берег и вместе с собой уводят женщин. После богатой еды и вина (этим в большом количестве варвары запаслись в Артикомиде) они стали бесчинствовать с женщинами, а потом заснули, опьяненные вином и любовью.

Посреди их сна и любви, вернее сказать, посреди варварского бесчинства появляются воины из Дафниполя, нападают на спящих варваров, схватывают их, режут, награбленной добычи лишают и нас за собой увлекают. Затем воины вместе со всеми своими пленниками торжественно проходят по улицам этого города и, в конце концов, по воле оракула делают нас рабами и по жребию отдают в разные руки. Снова я теряю свободу, и рабское ярмо приводит меня в Дафниполь.

Но вот наступают эти дни, дни праздника Аполлона, великое торжество и всенародное ликование. Вестники мечут жребий, и моего господина, который вчера порвал венок моей свободы, отправляют вестником в Артикомид. Он прибывает в определенный ему жребием город, я как раб сопровождаю господина. Нас принимает Сострат, отец Родопы, вчера отнявший у Исмины ее венок.

Я узнаю, что Исмина — рабыня этой Родопы, и представляюсь ее братом. Она выдает себя за мою сестру, и мы предаемся нежности на глазах самой Родопы. Любила ли меня Родопа и прибегала ли тут к помощи моей сестры Исмины и ее рабыни, пусть скажет Исмина.

То же, что было у жертвенника, ты знаешь лучше нас — про слезы матерей, причитания отцов над нашей участью, про пророчество, про то, как родители вновь обрели своих детей, про венок свободы, про увенчание,

про развенчание, про твое спасительное вмешательство, про венки нашего освобождения и про все остальное, случившееся у этого великого алтаря свободы».

Когда я смолкаю, жрец говорит мне: «Радуйся!» — и переводит глаза на Исмину, «Дева Исмина, — говоря, — о судьбе этого твоего жениха я знаю из его собственных уст. Округли же ты рассказ, наподобие полной луны, чтобы он светил полным светом».

Она в ответ: «Пощади меня, ради Аполлона-Спасителя!

Стыдливость ведь преграда уст девических.[6]

Я не хочу быть столь дерзкой, чтобы презреть страх перед отцом и почтение перед матерью: молчание ведь и скупость в речах — украшение дев».[7]

Так девушка, застыдившись, отвечала ему, а добрейший жрец: «Дева, дитя мое, — говорит, — вот Аполлон дарует тебе свободу и соединяет с тобой этого вот прекрасного Исминия, а ты не хочешь даже принести в жертву богу рассказ о пережитых тобой превратностях, чтобы эта повесть сохранилась навеки и не забылось чудо, которое великий Аполлон, так необычайно вам предрекши, творит?».

Исмина молчала и только плакала.

Тогда Сосфен, пристально взглянув на нее и не спуская с дочери грозных глаз: «Не молчание, — сказал, — мерило скромности, а чистота поступков и целомудренность нрава. Ты не совестились поступать дурно, а говорить стыдишься? Я, о Аполлон, был бы рад, если б она стеснялась делать, а не говорить».

Тут я, клянусь богами, сам стал заливаться румянцем, готов был заткнуть уши и чувствовал себя вторым Протеем,[8] тысячу раз меняясь в лице, так мне были досадны насмешки ее отца.

«Перестань, Сосфен, — сказал ему жрец, — чтобы девушка не ушла. Стыд ведь — детище порицаний, не поступки породили его».

А девушке он говорит: «Не уклоняйся, рассказывай».

Она обливается испариной и слезами, не может сладить со своим языком, теряет голос, задыхаясь от волнения, опускает глаза.

«Обо всем, включая корабль, море и бурю, — говорит Исмина, — уже рассказал этот человек. Когда меня ввергли в море, дельфин подставил мне спину; он нырял в волнах и легко рассекал воду, а я, сидя обнаженной на его спине, качалась на волнах, замирала от головокружения, терзалась сердцем от ужаса перед зверем. Зверь был моим спасителем, но того, кто был мне рабом, я считала врагом, содрогалась перед спасителем, врага любила и обнимала как спасителя. Так как мой спаситель теперь — зверь, я жаждала от него уйти, но не доверяла волнам, и меня угнетали сомнения, валы и зверь».

Когда я уже испускала дух, передо мной появляется нагой юноша (и он был на дельфине), протягивает мне руку, взяв мою, выводит на берег и, взмахнув окрыленными ногами (ноги его были окрылены), скрывается с моих глаз.

А я, сидя на прибрежном песке, «О мать, — в слезах твержу, — о мать, о мать моя!».

По прошествии нескольких дней (сколько их было, точно не знаю) я вижу идущий мимо корабль, протягиваю к нему руки, телодвижениями умоляю, криком взываю. Корабельщики направляются к берегу и забирают меня с собой на корабль; они страдают душой, набрасывают на меня какие-то лохмотья и из жалости дают поесть, всецело разделяя со мной горе.

Всю ночь плывя при попутном ветре, мы двигались почти без усилий, и вдаль уже показалась земля. С восходом солнца стали набегать волны, поднялся ветер и сорвал мачту. Чтобы уйти от бури, кормчий направил корабль к берегу, но, спасшись от дыма, нежданно попал в огонь: он причаливает и тут же отдает нас во власть звероподобных людей. В гавани ведь стояла триера, а на берегу толпа мужей с лютыми глазами, с лицами черными, с руками безжалостными — не люди, а подлинно чудовища. Они всех нас схватывают, мужчин без пощады убивают и радуются добыче. Меня они, не знаю как, бросают в трюм корабля, надев на ноги колодки.

На следующий день пираты подняли парус, вверив триере ветру; всю ночь нас спокойно несло его легкое дуновение. Когда же засиял свет солнца, мы заметили землю и расположенный на ней город. Пираты сходят на берег, заключив с его жителями мирный договор, разгружают корабль. выводят из трюма и меня, ведут затем к какому-то источнику, увенчав лавром, бросают в воду, вскоре снова выводят из воды и отдают в рабство Родопе, с которой я пришла сюда к великому алтарю, даровавшему мне свободу, как со своей госпожой по вине моря, судьбы и неволи у варваров».

После этого рассказа моей Исмины пир кончился, и тотчас, как это бывает вслед за обильной трапезой, мы предались сну.

Когда же мрак рассеялся (ведь солнце поднялось над землей), мы, стряхнув сон, все поднялись с постелей и по завершении праздничных обрядов, из Дафниполя отправились в Артикомид, чтобы испытать Исмину, как золото в огне, источником и луком. Мы пришли к источнику Артемиды; туда же вместе с нами устремляется весь город Дафниполь. И жители Артикомида собираются у источника и лука, видят украшенную венком Исмину, Артемиду умоляют, сострадают девушке, в ее девственности сомневаются, не полагаются на чистоту, страшатся испытания. Я стоял, не сводя глаз с лука, источника, венка, глядя, плакал, и душу мою осаждали сомнения. Исмину увенчивают, стоящие вокруг испускают громкие клики; ее бросают в воду источника; толпа молчит, и нигде ни звука. Лук недвижим, вода не бежит, дева легко скользит по волнам. Толпа ликует, от радости пляшет, весело бьет в ладоши, восторженно кричит; «Девушка — дева»,—громогласно возвещает. Я же всей душой предавался счастью.

Деве (никто более не усумнится, что так ее следует именовать) помогают выйти на берег, мать ее обнимает, счастливый отец славит; Исмину ведут к Артемиде и увенчивают победным венком. «Она — девственна! Никто более не сомневается в девушке». Так мы из Артикомида возвращаемся в Авликомид и пышно празднуем свадьбу в саду Сосфена, у того пиршественного стола и водоема, у которых впервые воздвигли любовный чертог.

Поднялся весь город Авликомид — поет, в ладоши бьет, ликует, пляшет перед спальней, перед брачным покоем, перед нами, новобрачными, заты-

гивает гименей,[9] запеваает эпиталамий [10] и славит блестящий брак.

Кто столь сладостно одарен музой, велегласен, искусен в аттической речи,[11] способной с изяществом передавать возвышенное, чтобы словами живописать свадьбу и рассказать о ней? Воистину то был свадебный покой богов, брачное празднество Геры, свадебный чертог Афродиты.

Я радовался столь блестящему своему и пышному брачному торжеству, а особенно тому, что Эрот блистательно привел мне Исмину, царственно посадил рядом со мной и торжественно увенчал венком. Но я жаждал окончания пира и, Эротом клянусь, ненавидал день, ожидая ночи, и шептал, немного изменив его, стих из комедии:

О царь Зевес, как нескончаем этот день! [12]

Итак, мое брачное торжество было выше велегласия Гомера, выше всякой музыки, выше всякой искусенной в риторике речи.

Но, о Зевс, чьим вестником я пришел в этот Авликомид, о владыка Эрот, чьим рабом я возвратился из этого Авликомида в родной Еврикомид, о Посейдон, в бурю взявший эту Исмину очистительной жертвой, о великий Аполлон, подаривший нам свободу, о лук Артемиды и источник, доказавшие ее девственность, да не поглотят того, что с нами случилось, ни бездна забвенья, ни долгие годы, ни старость, ни отнимающая память чаша, которую пьют в Аиде.[13]

О Зевс, если, дивясь любви братьев Диоскуров, ты в небесах сохраняешь память о них бессмертной, наша любовь выше, так как друг с другом мы разделили всю жизнь.[14] Если, пожалев великого Геракла из-за мнужества скитаний и блужданий, ты увековечиваешь память о нем в небесах,[15] разве мы не были пленниками, рабами, скитальцами и сверх того не соблюли девственность? Но раз я предал свое вестническое достоинство, предпочел Эрота, сына Зевса, отцу, Зевс не поднимет до горних высей славы о нас и не удостоит в небесах памяти.

Ты же, о Посейдон, если страдаешь Икару и морем хранишь память о нем бессмертной, даровав по имени юноши ему название,[16] неужели не сохранишь и о нас памяти, нарекши море в воспоминание о наших чудесных приключениях и отобразив в волнах превратности нашей судьбы несмыслаемыми до скончания века? [17] Так должно было быть. Но знаю, тебе стыдно своего поражения и ты боишься, как бы, запечатлевая то, что выпало нам на долю, не поведать правды о себе.

Ты, мать земля, если тебе жаль преследуемой Дафны, прячешь и спасаешь ее и по своей воле производишь на свет в воспоминание о ней соименное деве дерево,[18] если блюдешь бессмертие Гиацинта в соименном ему цветке,[19] неужели не соблюдешь памяти о нас? Неужели не родишь соименные нам растения, бессмертные памятники нашей жизни, этой вот Исмины и моей, Исминии, отобразив в них все, что мы претерпели, и запечатлев, чтобы сохранить для потомства бессмертную память о нас? Но колебатель земли этот Посейдон; но сотрясатель он земной тверди; и рыкнет он на тебя, как лев, и сотрясет тебя, свою мать, если увековечишь нашу повесть и разгласишь поражение, нанесенное ему Эротом. Но я люблю мать, чту мать и лелею мать. Поэтому, если Зевс не допустит в горние выси повести о наших деяниях, если Посейдон не запечатлеет ее на морских волнах, если Гея [20] не воплотит в растения и цветы, как на невянущих деревьях и нерушимых камнях, она будет записана палочкой для письма и чернилами Гермеса [21] языком, дышащим риторическим пламенем,



и кто-нибудь из потомков перескажет ее и словесно как бессмертный памятник воздвигнет золотую статую.

Влюбленные одобряют нашу повесть за множество любовных услад, девственные и чистые возрадуются целомудрию, сострадательные пожалуют о наших злосчастиях — так память о нас станет бессмертной.

Мы же исполним написанное усладой и украсим книгу любовными прелестями и всем прочим, чем украшают книги и расцвечивают речи. Название книги будет: «Повесть об Исмине и обо мне, Исминии».

\*\*\*